
МИХАИЛ ЛУЗГИН

РАСЩЕЛИНА

РАССКАЗЫ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА — 1927 — ЛЕНИНГРАД



Вак. № 1242.

Товарищу и другу
Марии КАГАН

РАЩЕЛИНА

Заваяло, засыпало Непоротово снегами. Окопами залегли вокруг сажённые сугробы. Чуть обозначится ледяным венцом чей-нибудь хлев либо пуня, потянет морозным дымком из невидимых труб, а там опять запушит, завет — упаси, господи!.. на двор по нужде выйдешь — назад пути не найдешь.

— Ну, и зимушка сёлета!.. — говорили старики.

— Ну, и зимушка!... Не иначе — к урожаю.

Непоротово — село небольшое. Дворов пятьдесят, душ триста. Раскинулось по оврагу, по овражьи́м бокам. Живут в нем мужики серьезные, с лица гордые, давнее свое держат крепко:

— Были мы раньше — трех деревень: Рубежники, Молчалово, Непоротово — на казенной службе. На границах службу несли. И название нам — панцырные бояре. В бумаге в точности так обозначено... Да теперь тая бумага в Питербурхе у главного начальника состоит... а ту бумагу выкупить — как были так и опять бояре будем... Только деньги гораздо большие — две тысячи рублём... Не соберешься с деньгами-то, говорю...

Любой дед вам про это расскажет. И длинный, как усохшая орысина Баха, и седенький злой, как страпига Лявон и горбатый Дмитруха, что вынес свой хутор аж к самым Абудворицам. Была бы только спрашивать охота.

А промеж мужиков—по своим по делам—пришлый народ—евреи. Не меньше—душ тридцать евреев в Непоротове, может—и больше—кто же считал? Один за щетиной, другой с керосином, третий—по лошадям. Каждому—дело есть, каждому—интерес находится... Такой ли беспокойный народ—беда!..

Настали нонче в Непоротове апоследние времена. Откудова налетели-наехали—Тышка Сысоев, Ванька Шкода, Сергеиха старая внучат приволосыла. Да все почитай, кто с фронта, кто с Питера—голоштанники, облаежи несытые: тутотниих нищих мало, так бог радость послал.

Это бы все нипочем. Это бы все в полбеды. Силу обаянные забирают, наделали комитетов, советов, по амбарам да по клетям шастят, землю равнять собираются. Была старая власть—нехорошая, была—«селясть»... Ну, только и эдакой не дай бог! Сели на шею—слова не скажи, пальцем не ворохни—подавай хлеб да и на!

Приедет этакой-то—сапожник хром, галифе—во!—четверть овса мало. Подавай то, подавай со— тут тебе и налог, тут тебе и разверстка, а не хощь—к стоню!..

— Комиссары!.. мать вашу так. Коммуния!.. Ну дайте только срок.

Особливо — дед Лявон. С этим пачнешь и неза радуешься. Как завернет, как завернет — конца краю не будет:

— Чтоб им глаза повылазило... Всею чисто Рассею ограбили... Сквозь свет обходи — нигде такого и нет... А все жид!.. Обирай русский народ — не жалко...

И заматерится так, что иной старый солдат, а не стерпит:

— Ты бы полегче, дедушка. Вон Ленин и наовсе православный. Понапрасно такими словами...

Лявону только того и надо. Только того и ждет, чтоб кто несогласие какое заявил.

— Не ты б говорил, не я б слушал... Мало ты с Янкем своим целовался?.. Знаем, все знаем!.. Из-за вас Рассея пропадает!..

А на Янкеля Лявон зол против всех больше. До чего хитро замечан — не приведи бог! Шмыгает ворсбьем на одонке по мужичьим хатам: там пальтушку скроит, здесь на парку раскинет, иголкой сучит — глазу тошно, языком вильнет — ровно иголку вгонит. Швец-то швец, да поди разберись? По швам бы такого, на порог не пустить, а мужики, которые напротив:

— Когда ж до меня, Янкель Гаврилович?.. Дочка смерть пальтушку хотит... Да и я — сгрустнулся... Потолковали б о чем!..

Любой дед вам про это расскажет. И длинный, как усохшая орясина Баха, и седенький злой, как стракива Лявон и горбатый Дмитруха, что вынес свой хутор аж к самым Абудворицам. Была бы только спрашивать охота.

А промеж мужиков—по своим по делам—пришлый народ—евреи. Не меньше—душ тридцать евреев в Непоротове, может—и больше—кто же считал? Один за щетиной, другой с керосином, третий—по лошадям. Каждому—дело есть, каждому—интерес находится... Такой ли беспокойный народ—беда!..

Настали нонче в Непоротове апоследние времена. Откудова налетели-наехали—Тишка Сысоев, Ванька Шкода, Сергеиха старая внучат приволокла. Да все почитай, кто с фронта, кто с Питера—голоштанники, облаежи несытые: тутошних нищих мало, так бог радость послал.

Это бы все нипочем. Это бы все в полбеда. Силу оканные забирают, наделали комитетов, советов, по амбарам да по клетям шастят, землю равнять собираются. Была старая власть—нехорошая, была—«власть»... Ну, только и эдакой не дай бог! Сели на шею—слова не скажи, пальцем не ворохни—подавай хлеб да и на!

Приедет эдакой-то—сапожник хром, галифе—во!—четверть овса мало. Подавай то, подавай се—тут тебе и налог, тут тебе и разверстка, а не хошь—к стенке!..

— Комиссары!.. мать вашу так. Коммуния!.. Ну дайте только срок.

Особливо — дед Лявон. С этим начнешь и неза-
радуешься. Как завернет, как завернет — конца
краю не будет:

— Чтoб им глаза повылазило... Всею чисто
Рассею ограбили... Сквозь свет обходи — нигде та-
кого и нет... А все жид!.. Обирай русский народ —
не жалко...

И заматерится так, что иной старый солдат, а не
стерпит:

— Ты бы полегче, дедушка. Вон Ленин и
наовсе православный. Понапрасно такими сло-
вами...

Лявону только того и надо. Только того и ждет,
чтоб кто несогласие какое заявил.

— Не ты б говорил, не я б слушал... Мало ты
с Янкелем своим целовался?.. Знаем, все знаем!..
Из-за вас Рассея пропадает!..

А на Янкеля Лявон зол против всех больше.
До чего хитро замечан — не приведи бог! Шмыгает
воробьем на одонке по мужичьим хатам: там паль-
тушку скроит, здесь на парку раскинет, иголкой
сучит — глазу тошно, языком вильнет — ровно
иголку вгонит. Шве́ц-то швец, да поди разберись?
По швам бы этакого, на порог не пустить, а му-
жики, которые напротив:

— Когда ж до меня, Янкель Гаврилович?..
Дочка смерть пальтушку хочет... Да и я — сгруст-
нулся... Потолковали б о чем!..

Потому и злость. Пообломал бы Лявон Янкелевы иголки, ох уж пообломал бы, кабы по силам!.. Ну да со временем... Найдется кому!.. Шуганут воробья с оденка.

Также-то дела пошли по Непоротову, также-то разговоры.

А в то воскресенье отец Северин проповедь народу произнес:

— Идет светопредставление!.. Пропечатали декрет: женщины — что молодые, что старые — яиловским комиссарам на пайки, а мужики — что молодой, что старый — к стенке... Молитесь, люди!.. Будет по вашей молитве страшный суд божий — большевикам крышка, а православным хрестьянам полная советская власть!..

Дмитрушенкова хата против всей деревни — трухлява. Ткну Дмитрушенкову хату пальцем — и щепок не соберешь, все пылью рассыплется.

На дворе у Дмитрушенка — соха да кобель, в избе у Дмитрушенка — стол да скамья, да баба хвора, да трое ребят. Вот и все Дмитрушенково тут. Немного, немного, что и говорить. Зато — власть революционная, советская. Зато — председатель комбеда, — через сени — бедняцкий комитет. Сам Дмитрушенок в солдатской шинельке, волосом рыжим пошел — завивается волос, кольчится: такая уж у Дмитрушенка природа вихрастая — сидит, самосейку курит, шалку не снял: нипочем, что под полотенцами бог. И Ахрем, и Матвей, и Ва-

нюшка Шкода — вся беднота непоротовская — сидят, промежду собой разговор ведут — затуманили низенькие оконца плотной махоротной гарью.

— Нам бы теперь богачков на пай перевести... Вот бы то было дело!..

— Переведешь!.. У их позарыт, позакопан... погноить не жалко, а людям отдать — смерть!..

— У их сколь хошь отбирай, они все одно сыты будут!..

Зевнула клубьями пара леденелая дверь, с шумом, с дыхом, с обидой ввалился Шашок Иван Иванович, маленький, коренастый, — полущубком воняет, квахтухой топорщится:

— Это ж надо сказать!.. Да ти в разуме вы?.. Откуда ж я тридцать пудов возьму?!

— Ну, ну, не кричи... Не кабак здесь!..

— Сам хозяин! Знаешь где складено. Там и возьми!..

— Нету!.. И взял бы — нету... Вот истинный бог!.. Хоть облазьте — все чисто... Нету!..

Тискает себя в грудки Иван Иванович, божится, упрашивает:

— Товарищи!.. Рази б я пожалел?..

Усмехается Дмитрушенок рыжим усом. Не обманешь.

— Мы твои хлеба знаем, Иванович. Твои хлеба — считанные. Не отдашь своей волей, так... А ну что там!.. Эй, Ахрем!.. Выводи народ Шашков хлеб поверять... Обеднел Шашков эти годы, придется у людей взять да ему дать!..

— Гады голодные!.. Облажки коростовые!.. Не сгноили проклятых в окопах!..

Раньше б: «Иван Иванович, отец родной!.. Не откажи, выручи!.. Сделай милость!..» Во гдо вы у меня сидели, побирахи несчастные. Ну да — не все ж так будет... Недолго еще по засекам лазить... Даст бог — накормим!.. Досыта накормим!.. Не захошь больше людского хлебушка...

— Правильно, Иван Иванович!.. Верно-с!..

Учителев голосок к месту приятен, даже с большим удовольствием слушать можно:

— Здесь вы их держать изволили, Иван Иванович! Здесь! В кулаке-с!.. Однако, я считаю никак им вашего кулака и впредь не миновать... Самое ихнее-с место!..

Старается учитель Осинников, старается, угождает, авось отпустит пудишку Иван Иванович домой снести.

Сошлись бабы с ведрами у колодца.

— Идет, слышь, сюды сам генерал Краснов и с ним казаков — тыщи несчитанные!.. Большевикам, слышь, конец будет.

Хороша Шалкова невестка Настуха — ай хороша! Толстогруда, крутоброва — на язык против нее редкая баба выстоит:

— Казаки народ крепкой... Баловства нипочем не допускают!

— Може еще и не идуť... Знает Ахремова Ганка. — Настухе соврать — не дорого взять.

— Цаврепок, даюшь, моему мужику сказывал, в газетах пишуть: у казаков, что и у нас — все чисто к большевикам обращаются.

— Молчи, рвань!.. Тебе твой лежебок не богиость чего наплетет, а ты и рада — сейчас на хвосте и понесешь!..

— Сама — трепло!.. На всю деревню треплешься... Язык, что конский хвост, — мягкий!..

— Ах ты, подзаборница Питерская!.. В Питере на паперти стреляла, своего Ахрема кормила, а теперь фу-ты ну!.. В коже места нет!.. Мало вы сапоги Шашковы лизали... Еще не так лизать будете!..

— Ишь, стерва! Сундуки набиты, так и ругаться? Так и сила твоя?.. Не-э! Кончилась ваша сила! Это раньше бывало апоследний плат со слезам скинешь, да вам отдашь!.. А теперь — не-э! Теперь ваши сундучки-то проверю! Прочистють вам сундучки-то. Али не по вкусу пришлось?..

— Да ты что, в самом деле! Да как ты смеешь?.. Да ты что об себе думаешь?!

Рассвирепела Настуха, разыграла кровью, вцепилась Ахремовой бабе в волосы. А та — за груди, одна рука — в рот. Схватились бабы, корчатся на снегу, — распластались на снежной скатерти черные валенцы, да бабья упряжь — забытые коромысла.

— Бабыньки... срам!.. Бабыньки... стыд!.. Есть об чем, бабыньки?!

— Эй, Матвей, разымай!.. Не видишь?.. Бабы друг дружку удущат!.. Тащи Настуху!.. Совсем бабы с ума сошли...

Раньше — казенная винная лавка. Уж сколько лет нет больше торговли и вывеска только что на одном гвозде задержалась. Теперь тут — Ревком. Правит всем делом Петька Цавренок, питерский канавский посадер; заделался в большевики — знать ничего не хочет.

— Эсплоататоры, кровососы, кулачье!..

Сам невеличка, худенький, револьвер у пояса — без малого в Цавренков рост, — кричит, кулаками машет, на народ грозится... Но хоть и кричит, а видишь — с умом кричит... Не зря!.. И молод вот, а поди ж ты...

Пришли в это воскресенье мужики.

Сбоку зайти — Цавренок. С другого заглянуть — он же. Подойти с лица да заговорить — как не было Цавренка. Сидит главный комиссар товарищ Мазин, а насчет Цавренка — это вы уж бросьте! — времечко не то.

— Так и так, Петр Матвееч. Ослобони... Сделай милость... Хотя мы и самостоятельные крестьяне, ну только налог нам — гибель!..

Вскочил, заершился руками, ногами:

— Заарестую!.. Самотажники!.. Грабители!.. Россию хотите голодом заморить!.. Так вот мое слово: чтоб полностью вывезли!.. А тебя, старый пес, гляди — будешь народ мутить — в яму!..

Это он Ивана Павловича так!.. Самого первеющего человека в Непоротове... Ай-ай!.. У Ивана-то Павловича — земли ни много ни мало шестьдесят десятин, у Ивана-то Павловича в городе зять бакалейщик, а он его такими-то словами!.. Ай-ай!..

Высоко крыльцо Непоротовского Ревкома. Приедет оратель какой, зачнет крыть про разверстку с крыльца — хоть будь глухой, так и то услышишь.

Собрался народ у ревкомовского крыльца, на дверях бумажки наклеены — желтые и белые, больше желтые, чем белые. Обо всех налогах в бумажках пропечатано.

«Империалисты всего мира объединяются против...»

Читает народу Сергей Кузьмич, выкладывает по строчке. Грамотный человек Сергей Кузьмич — и в Германии был, и в Галиции, и в эсеровской партии состоял — про все знает, обо всем рассказать может.

— Это ж кто бы такие «империалисты»?..

У Митьки Шлемченка борода по пузо, баба вторым ходит, и на фронте был, а все нет в нем настоящего понятия.

— Эх ты, варлах!.. Цари значит!.. Вот кто...

— Чего ж это они объединяются?..

— Да помолчи ты!.. Прет под руку!.. Дай человеку слово сказать.

Не задерживается Кузьмич, читает дальше — где она суть-то самая, про какой еще тут налог:

«Постановила советская власть призвать в ряды Красной армии годы 1896, 1897, 1898. Вследствие окончания отсрочки предоставленной нашей губернии центральной властью для поднятия своего хозяйства, предлагается... лвиться...

Предгубревкома Крылов

Губвоенком Скраде».

— Братцы... Об чем же тут?..

— Никак мобилизация!.. Родимые!.. Кузьмич!.. Поясни!..

— Это и моему Гришке куда хощь итти выходит?!

— Уж там выйдет!..

— Не навоевались еще... Три года как один в окопах высидел!

— Манька, Мань, зови скорей Гришку, пуцай сейчас сюда прибежить!..

— Большевикам одним воевать скушно, нашего брата захотели!..

— Цавренка сюда!.. Что в самом деле!.. Пуцай расскажет!..

Откудова баб набралось, — ревмя ревут, прямо в голос:

— Маткин берег!.. Неужто опять воевать итти?..

Уж так-то Васька Сорока запосился, уж так-то голосом надавал, лишей всех.

— Пусть мобилизуют!.. Пусть! Только б винтовки в руки...

Петька Шихало — скрозь свет прошел, три раза Николай ловить присылал — не поймал. Да где такого и поймать? Щеки в дырках, глаза будто мылом намылены — в самую кишку проникают. Человек серьезный и к Васькину крику относится с пристрастием:

— Ты, Вась, не борозди и слюнями в морду не дрызгай. Нас не трогают, а нам к чему ж?

Голосок у Агнашка тихий и ласковый, усики белокурые в колечко. Любят Агнашка девушки Непоротовские. Как и не любить? Против Агнашкова резона и слов нет:

— Наше дело — маленькое. Как есть у нас по винтовочке на току, да пулеметик на Мочалове у Лукашенка в сене, то и незачем нам ихних винтовок ждать, то и нет нам расчета...

Не стал Васька спорить, согласился:

— Не итти, так не итти — оно же и лучше!

Вечером пришла весть: Красная армия в Ильичине, кого застигла — на подводы, кто успел — в лес ушел.

Собрались непоротовцы. Васька — винтовку, Петька — винтовку, Лешка Пуля — ее ж. А Агнашок завинтил на Мочалово, у Лукашенка в пуне «максимку» взять.

Стар Есель, пожелтела от старости длинная борода, трясутся руки и ноги, но ничего не сделали годы с Еселевым духом, еще крепче, еще тверже Есель в том, во что уверовал с детских дней.

— Что, если... говорит Залман, говорит и не решается, не поворачивается язык сказать, страшные, может быть единственно верные слова...

— Я давно об этом думаю, реббе... Вот уже месяц как думаю... Что если у большевиков правда?..

Глубокие грустные глаза у Залмана. Думающие. Синеватый выбритый подбородок.

— Как ты можешь так говорить?! Это — Янкель тебя научает?.. — Дрожит от волнения Еселева беззубая челюсть. Думаешь ли ты, что говоришь?.. Вон — Троцкий — трэфное ест, субботу не соблюдает... Мешумед Троцкий!.. Какая там может быть у них правда?..

Не отвечает Залман. Нет у него неопровержимых аргументов, нет у него цитат из священных книг. Да и в книгах ли их искать?..

Вошел Мендель, дверями хлопнул, на ногах снегу принёс. Немолодой, лет сорок, в селе — мелочная торговля.

— Слышали новости?..

— Какие там у вас новости, Мендель.?. Проходите, садитесь... Да ну же, рассказывайте!..

— Лейзер умер... Но это, верно, вы уж знаете?..

— Что же, человек, у которого голова проломлена колом, не может жить... А еще?..

— Еще — Хайма ограбили... Тридцать пудов соли вывезли. Третьего дня только привез.

— Ох, какое несчастье!.. Ведь у Хайма — все было в товаре... Кто вам сказал, — Хаим?..

— Мне Роха сказала... Хаим пошел искать... След от саней в Богову дачу. Он ушел еще утром. Роха боится: не убили бы и его — ведь там теперь все — и Васька, и Петька, и Агнапок — вся пайка.

— Вот видишь, Залман... Голос Еселя стал торжественным, как на молитве.

— Вот видишь?... Одного убили, так, ни за что... шутки ради... и он умер сегодня, другого в одну ночь сделали нищим!.. Пойди-ка пожалуйся советской власти. Посмотрю я, как она нас защитит!..

Молчит Залман... Что может сказать Залман, когда и сам не понимает, когда только нутром чувствует: не то, не здесь ответ, не там надо искать!.. А где — не знает.

Склонил бессильно Есель библейскую голову, чернеет в мути седин маленькая шалочка — ермолка.

— Раньше была черта оседлости и процентная норма, но мы могли жить и работать... А теперь?... Надо нам уезжать отсюда... Надо перебираться в местечко... Иначе нас всех перебьют!.. Мужики уже вслух похваляются.

Никто не сказал ни слова. Зашелестели на стене бумагой отчетливо и торопливо крупные рыжие тараканы.

В Ревкоме — народу не нет. В Ревкоме от народа — и не продыхнешь.

Кто с жалобой:

— Петра Матвеевича, облегчи налог, сделай милость!..

Кто с просьбой:

— Сена-ат ни крошки!.. Кобыла ляжет, куды тада кинусь?.. Дозволь у Сороки взять.

Кто с доносом:

— Ты его сам попроси, попужай—скажешь!.. У его большие богатства должно запрятаны— а ты попроси, попроси!..

Кто просто так зашел—поболтать, новостей послушать: «скоро ль, мол, большевикам—конец, и ты правда, что из уезда Красная армия будет».

Только не любитель Мазин разговоры разговаривать, без дела минуты не посидит. Тому налогу убавить, другому накинёт, третьему записку в комбед напишет, на бумажках резолюции накладает—пером скрипит—из угла в угол. Дерзкие резолюции, небывалые, одна другой хлеще:

«Предоставляю под школу новый поповский дом...»

Откуда только народ такой взялся? Ничего не страшно!.. Где их таких только делали?..

Поторапливает Мазин секретаря: «подгони, подгони, парень, — время». Секретарь списки пишет—над бумагами гнется, дезертиров по книгам выписывает: «Федор Кисель — село Непоротово, Михайло Савельев — фольварок Рубежник, Игнатий Самсонов»...

Над столом в Ревкоме плакат: «Бедняки, организуйте свой комитет» и «отпечатано во второй

типографии ГСНХ». На окне столетник под стеклом и большой облысевший кот.

Пришел мужик — плечистый, чернобородый, глаза шкворнем. Около — парнишка с наганом: зная — арестованного привел.

— Авдею Левоничу!.. Тебя-то мне и надо!.. — Обрадовался Цавренко, как друга увидел, со стула вскочил:

— Ну-ка показывай, где твой Агнаш?.. Под какими кустами хоронится?..

— Неизвестен я... — густо отвечает Авдей, поблескивает белками глаз. — Мне Агнаш об своих делах не докладывает. За Агнаша я не ответчик.

— Как не ответчик?.. Агнаш твой всю волость мне замутил, ребят в лес увел, а ты не ответчик?.. Лейзера кто убил?.. Опять же, ты — не ответчик!.. Кто же тогда ответчик? А?.. Может, я?..

Прокашлял Авдей, поправил рукой бороду, сказал будто подумавши:

— Может и ты...

Хватил Цавренко ладошкой по столу:

— Ладно!.. Я, так я... Сами изловим — знаем, каким ходом Агнаш ночевать ходит!..

— Во — во!.. Об этом и речь... Коли вам всеходы и выходы известны, так вы и ловите, а мы тут непричем!..

— И поймаем!.. Видать нам с тобой еще поговорить... Отведи его, Вань, под замок покуда.

Завернул Цавренко с устатку к Ляксею. Ляксея как Ляксея, а вот Янкеля повидать давно охота.

— Слышь, Янкель... Народ больно чего-то ярит-ся... Дела-то какие!..

Навалились дела на Цавренкову голову: вроде как и немного, а с непривычки — не взять. То ли — с сошкой по пахоти!

Пошевеливает Янкель шитво, черными ягоди-нами прицеливается:

— Как Шашку не яриться, коли ты у него хлеб отобрал?... Мало — яриться, смотри — голову про-шибет!..

— А ну, я ему — раньше?..

Смеется Янкель:

— Горяч же ты, Петя: у власти стоишь... Держать себя надо... Не на гулянке.

Застыдился Петька: до чего понятливый обо всем Янкель — редкость. Поговоришь — ровно бы — про-светлеешь.

— Ладно... Это я так...

Помолчал.

— Что слышно?..

Разрисовал Янкель мелом по борту, отбросил клеенчатый сантиметр:

— Старики — в местечко надумали... Боятся...

Присвистнул Петька сквозь зубы.

— Ишь ты!.. Сейчас и дёру!..

Считал Цавренко про себя — кто свой, кто про-тив. Мало ли для всякого случая. Прикидывал

сверев на свою сторону, а выходит зря, только счет спутал. Угадал Янкель Цавренковы мысли:

— У кого товары да деньги — тот тебе не помощник... Что Шапок, что Есэль — друзья одинаковые...

Удивился Цавренко. Насквозь он видит, что ли?..

— Я Еселя в дружбу не набиваюсь... Уедет — и чорт с ним... Вот тебя — пожалел бы!..

Режет Янкель угловатыми ножницами толстую самоткань, помогает ножницам бритыми скулами.

— Кто в местечко, кто и останется... Я тебе — погоди — еще вот какой пиджак скрою!..

Засмеялся Цавренко, скрипнул расшатанной табуреткой:

— Кулачков наших еще бы спроворить!.. Пушай бы с Еселем ехали... Дело б куда складней пошло!..

Стрекочет сорока на поповском току, стрекочет, вертится. Каких да ни на есть вестей принесла. Каких — сам рассуди, да узнай. А нет — так и так.

У отца Северина сегодня гости. Любитель отец Северин — ежели с хорошим человеком в девятый вал заложить или наливочкой там побаловаться. Не чуждается отец Северин культуры. Еще бы! По спискам от эсеровской партии кто проходил? — учитель да отец Северин... На передовом, можно сказать, посту... На редкость поп, что и говорить, другого такого попа — поискать!.. А что мужики

которые ругаются — так это ничто, так это так, — по мужицкой глупости да жадности.

Только сегодня гости чем-то серьезным больно озабочены. Уж матушка Евдокия Парамоновна потчивала, потчивала — и наливочкой и заливной щучкой, а все нет веселья, или там шутки, или — другой какой разговор.

— Радостные, радостные вести, господин капитан! Очень вы нас вашими вестями порадовали.

Шагает отец Северин по комнате, крест свой наперстный беспокоит, навернет цепочкой на пальцы — спустит, опять навернет.

Капитан — кряжистый, плотный, не узнаешь, что капитан: в штатском, лицо выбрито, около губы вроде язва, местного крестьянина Тимофея Андреевича сынок — Виктор Тимофеевич.

— Так, говорите, восстал народ?.. Сбрасывает татарское иго?.. Может уже и нет ихней власти?..

— Может и нет, отец... Бабкин проезжал, рассказывал — Дзержинский Ленина арестовал, Троцкий успел на аэроплане удрать... Рабочие бастуют... И вы понимаете?.. против них тоже...

— Ну, дай-то бог! А где сам Бабкин? Почему не заехал?..

— Бабкин не останавливался, он ведь на весь уезд уполномочен... Ведь у нас, батюшка, ему и делать-то нечего. Сами посудите, у нас — все готово. Только слово скажи — ни одного не останется... Неправда ли, Сергей Кузьмич?..

— Так точно-с! — подпрыгнул Сергей Кузьмич на поповском стуле, ноги под себя подобрал, на Осинникова учителя — с оглядкой. К попу приоделся как на свадьбу — жилетка, брюки, штиблеты — все честь честью. Только вот ноги торчат. Куда бы это ноги девать? Молчит больше Сергей Кузьмич, с учителем пошепчется, опять молчит. Что и скажет — не от себя, на вопрос какой.

Остановился отец Северин, спросил осторожненько:

— Что ж... Вы думаете это слово сказать?..

Затаился.

— Думаем...

— Когда?..

— В воскресенье...

Перевел дух Северин, зашагал снова из угла в угол.

— С богом!.. Начинайте!.. Благослови вас господь...

Заворочалась, заурчала в поповском животе непереваренная щука. Вскинула матушка полнотелыми с ямочками руками:

— Что-то будет!.. Что-то будет!.. Поберегся бы ты, Северинушка?.. Выехал бы куда?.. Помилуй бог, что-либо неладно!..

Побывал Мендель в местечке, с тем с другим поговорил, устроил:

— Грузиться да ехать!.. Нечего тут больше дожидаться...

— Если теперь не выехать — потом поздно будет!

— В Колышках говорят разгромили...

— Надо всем разом...

Кто стоит, кто ходит — никому не сидится. Подбирает Есель на полу какие-то тряпки, затискивает в корзинку — там пригодится.

— Всем-то всем... — Почесал Мулька черные спутанные волосы. — Всем-то всем... Только будет ли толк!..

— Никакого... — весело откликнулся Янкель, — я не поеду!..

Есель сердито ощерился. Он знал, кто все время мутит и путает всех.

— Долго ты будешь тут?.. Оставайся!.. Пусть тебе вытрясут твои дурацкие мозги!..

— Мои мозги может быть вытрясут, а может быть нет... А твою мануфактуру вытрясут и в местечке!.. Чтоб я так жил!..

Есель затхнулся от злости:

— У — у!.. Хазерше бейн!..

— Ругаться не хитро!.. — сказал Янкель, обращаясь ко всем. — Есель и Мендель — богатые евреи, и они хотят сохранить свое богатство... Но они хотят сохранить его от советских законов.

Мендель почувствовал, что спокойствие Янкеля действует сильнее, чем Еселева ругань. Он поспешил на помощь:

— Лейзера и Хаима тебе мало? Это тебе не погром? Русскому все равно — бедный или богатый... Русский обижает еврея за то, что он еврей.

— Кто это тебе сказал?.. — голос Янкеля стал вдруг сухим и хлестким, как бич.

— А может быть, так, что богатый русский и богатый еврей вместе обижают бедного русского и бедного еврея?.. А может быть, они нарочно натравливают русского бедняка на еврейского?.. Ты никогда об этом ничего не слышал?..

— В других местах, — робко вмешался Залман, — евреи и русские берут ружья и револьверы и вместе защищаются от погромщиков.

Ему было страшно. Он привык делать так, как говорили старые люди.

— Правильно!.. — сказал Янкель, ударив ладонью по коленке.

— Дезертиры и кулаки — враги советской власти. Советская власть — власть рабочих и бедноты... Нам не уезжать надо... Нам — незачем уезжать!.. Пусть Мендель и Есель едут себе, куда хотят, а мы должны оставаться... Если будет плохо — Ревком нам поможет.

— Я тоже так думаю, — подтвердил Мулька.

— Мишугине!.. — прошипел Есель, выплевывая слюну. — Мишугине!.. Тебя matka сбросила раньше срока, чтобы ты не поганил ей брюха... Делайте, что хотите!.. Можете слушать этого идиота, а я завтра же уезжаю!..

С утра в Ревкомé помоездвоенкома Гаврилов схода поджидает, кожаной тужурочкой поблескивает, товарища Мазина распекает отечески:

— Как же ж так?.. Без предупреждения, без раз'яснения — бряк! — Расклеили!.. Призыв!.. Ну и разбежались!.. Вот и лови теперь по кустам.

Жара сегодня Цавренку. Употел, ей-богу, слов не найти.

— Да, товарищ Гаврилов, да ведь кулачье ж это!.. Как их раз'яснять?.. Их колом по головам, так и то не проймешь, а не то что...

— Неправда, неправда, товарищ Мазин! Кулачье — речи нет. Так ведь не все ж кулачье? Есть же, которые победней?.. Вот их бы поагитировать, растолковать... Смотришь и пошло б по-другому. Зачем стариков арестовывали?.. Делу помочь не помогло, а злобы много прибавилось!.. Ладно, будем поправлять как-нибудь... Скоро они там?..

— Послал, товарищ Гаврилов, на лошадях послал... Праздник, разошедшись кто куда, не сразу и собьешь.

Нагнулся Мазин, преуул, отогрел заузорившееся ревкомовское стекольце, спугнул дремавшего на лавке кота:

— Подходят, товарищ Гаврилов — э-вон — за оврагом видать! Идут... Теперь — сейчас.

— Слышь, православные... Поварачивай!..

— Это к чему?..

— Вали в Ревком!.. Цавренок народ сбивает, сходка...

— А зачим?..

— Вали, вали... Там узнаешь!.. Оратель приехал... Насчет поравнения земли!..

— Во, гады!.. Да будет ли этому конец?..

...Помещики и капиталисты... Товарищи... Они хотят удушить советскую власть... Они окружают Республику наемными шайками. Мы должны как один стать под ружье... Грудью защитить землю и фабрики, завоеванные нашей кровью...

Мороз звенит, перехватывает горло. Голос у Гаврилова — легкая, сухая, звенящая льдина. В груди — птица большая, крылатая. А перед — стена. Тяжелая, непроворотная, глыбная. И голос звенящий лед — бьется, стирается, отскакивает от стены.

— Слыхали про это!.. чего зря!..

— Нас равнять нечего, мы сами поравнялись!..

— Хлеб усей чисто забрали, теперь до земли добираются!..

— Досыть по засекам лазать!.. Тащи его к... матери!..

— Вбить его, гада, чтоб и не ездил!..

Волнами заходилили мохнатые заячьи шапки, метлами взметнулись мужичьи бороды, взнялись ржавыми крючьями обмерзлые рыжие рукавицы.

— Ну, поймите, поймите, товарищи!.. Разве не одна семья рабочий с крестьянином?.. Разве...

Трепыхает, вырывается, раскалывает грудь пленная птица.

— Себя, себя бьете, себя!.. Поймите!..

Отскочила сухая тонкая льдина от сплошной тяжкодуманой стены. Царапнула, зазвенела, отскочила.

Качнулся Гаврилов грузной птицей-подранком, потерял под ногами ступеньку.

Заваяло, запушило Непоротово снегами. Заложило белым неводом небо и землю. Стелет вьюжный вихрь на дорогах, на перекатах пушистые скатерти, завоевает вихрь дороги сугробами. Потерялось, утонуло Непоротово в снегах.

Ой да Васюха богачек,
Ой да носить брюки, спинжачек,
Ой сапоги, сапоги хорошие,
Ой завсегда, завсегда с калошами...

— У-у-ух!.. — подхватил распьяным-пьяно пьяный Агнашок, завертел кучерявой головой. Нажимает Лешка на клапаны, растягивает «немецкую» — не жалей, подогрей!.. — не заметил: перешли сами пальцы на «статейку». Подломился Агнашок в коленях, не вытерпел, только снег изпод сапог градом:

— И-и-эх! И-и-эх!.. На-яривай!..

Завидели девушек корогод. В ватных пальтушках, в разноцветных платках, идут, на ребят не глядят — никакого гли их интересу.

— Ой, красавицы!.. Вали к нам. Не дорого берем, люблю...

— Брось, Васюх!.. Не похабничай!.. Чего в сам деле...

— Пушай придут, сгуляем...

Васюха и рад. Еще пуще старается:

Ой наши девки захворали,
Ой захотели д' молока.
Ой не попали д' под корову,
Ой а попали....

Разошелся Агнаш, руки зудят, земля в кулачок, небо в пятачок, — удержу нет.

— Гуляй, дезертиры!.. Гуляй, веселись!.. Наша сила, наша власть!

— А Красная армия придет — первой в кусты...

— Какая там Красная армия? Тая сама вся по кустам разбеглась!

Велик овраг в Непоротове. Раскинулся сквозь село, расщепил пополам — как сохой раз'ехало.

Течет в нем по дну речушка Вымянка, течет сдалека, течет далеко, а куда — кому знать?

Разбросалось по оврагу село. С одной стороны — церковь-храм, волость, школа, и народ все живет всамоделешний, настоящий — отец Северин, Иван Павлыч, Шашки, Есель, Викторов батька. По другой, словно знаючи кто расселил, по планам — Петька, Япкель, Ахрем, Ванька Шкода.

Один овраг-то, да две у него стороны.

Навели друг против дружки, ощерились грозно, не то два брата родных, не то два супротивника.

Бухает сторож церковный Антон в самый главный колокол. Велел поп:

— Бей, Антон, — как на пожар. Хоть и не пожар, — а надо.

Только прямо сказать — зря. Дернет веревку раза — рывкнет медью — колоколья трясется — и все. В туман — как в воду.

— Братки, слышь, Еселя на возу переняли — ббили!.. Янкеля хотели — в кусты ушел. Ей-богу! — Лявон его за грудки — да раз, раз!.. А он Лявону в живот!.. С ног сшиб!.. Думали — не встанет, старый!..

— Цавренка лови!.. Мать вашу... Не иначе — к Дмитрушенку побег!..

— Поймашь!.. У его ноги, что у зайца.

Хозяином похаживает Шашок Иван Иванович, покрикивает, полушубком воняет — обновил Иван Иванович полушубок в Еселевой крови.

Откуда взялся Виктор Тимофеевич — никто и не знал, все считали — в отъезде.

— Ввиду свержения жидовской власти — вся власть принадлежит мне!..

Мундирчик, сапожки, звездочки-то, звездочки!.. Белым нарукавником мелькает.

— По распоряжению командующего народной армией, я назначаюсь комендантом!

— Виктòру Тимофеевичу — почтение!.. По какому случаю при параде?..

Сценился Васька с Виктòром:

— Видали мы таких-то, мать перемать, в семнадцатом году!.. Катись откудова пришел!.. Не звали...

Уговаривает Иван Иванович Васюшкину бессознательность, усовещивает:

— Не егозись, Вася, не ерепенься!.. Виктòр Тимофеевич для нашей же пользы. Он не от себя старается, он от енарала!

Сгрел Васька Сорока обмерзлый кол.

— Бей, вашу мать!.. Поели нашего хлебушка досыть!..

Врезался кол тяжелым комлем в оконную раму, зазвенело, рассыпалось серебряной россыпью пущычатое стеклольце.

— Ой, майне цорес!.. Пожалей!.. Хоть ребечка пожалей!.. Христом богом молю!.. Василий Степанович!..

Еще с прошлого года задолжал Васька Рохе за соль, ведь не требовала, не просила, забыла... Разве это не в счет?..

— Ах ты, сволочь пархатая!.. Я те дам христа бога!..

В зыбку пришелся комель, скомкал, смешал, что в зыбке, в кровавую кашу.

Облапил Роху Василий, двинул ногой, валит на пол рядом с зыбкой.

- Я те дам христа бога!.. А това — не хошь?..
— Рятуйте!..
— Я тебе покричу!..
-

Повернул Иван Павлыч домой.

Ссутулился между хором, оглядывается — не увидел бы кто?

— Долго ли до беды! Как еще обернется все?..
Пришлют красноармейцев, тогда и пляши. Уйтить без греха, ну их к богу!..

Запыхался Цавренко, задышался, шапку, должно быть, потерял где — без шапки:

— Гаврилова кулаки растягали, Агнашок с дезертирами жидов почали, и нам тое будет!..

Промолчал Ахрем, пальцы в бороду запустил. Подскочил Янкель — по лицу кровь, — точно бы вынырнул:

— Жив, Матвеич?.. Я уже думал тебе конец!..
Насилу ушел... Думал — тебя поймали!..

Вынул Ахрем руку из бороды, схмурился:

— Я так считаю — белогвардейство это. Не иначе, ихняя работа. Давень Ганка рассказывала — Виктор-то наш при погонах об'явился.

— Не иначе... — отдышался Мазин, оправился, а в себя никак не притти.

— Что ж нам делать теперь?

— Что?.. — Ахрем с думой не скор. Покамест разберется да взвесит, да скажет. Зато как скажет — то в раз:

— Я считаю, Петр Матвеевич, как этого надо было ждать... То я и считаю, так и так нам худо... Становись за нашего командира, как ты есть здесь у нас главное лицо? Винтовки-ружья найдутся. Не бабы — фронтовики, чай.

— Что ж... — протянул Цавренко раздумчиво. — Ты как, Янкель, скажешь?.. Твой-то — где?..

Протер Янкель лицо Ганкиным рушником, заклеил рассеченный лоб обрывком газеты.

— Поискать надо... Каждый согдиться... Народу — не лишки... А ты Ахрема слушай... Ахрем понимает... Да не дремли!..

— Слышь, Ванюшка? — сказал Цавренко. — Садись на моего Воронка, вали в уезд — одна нога тут, другая там!.. Пошел?.. Постой, я тебе записку дам.

Оторвал от плаката кусок, пососал карандаша, написал:

«Мандата (пропуск)

Подателю сего предлагаю как защитнику мировой революции оказать помощь красноармейцев, вследствие того, что комиссар товарищ Гаврилов убит кулачем.

Пред. Ревкома Мазнев.

— Это ты верно... — одобрил Янкель, прочитав. — Ты, Ванюш, от себя там расскажешь... Что и как...

Огрел Воронка Ванюшка Шкода тугим узловатым кнутом, забрал Воронок с места смешным, взбудораженным скоком.

Набралось в Ахремову хату народу — и Тишка, и Хомка, и Никифор, — повернуться негде.

— Хо!.. Янкель!.. Братишка!.. Ты тут!..

Слазила Ахремова Ганка под пол, достала из-под гнилого картофеля битый горшок с патронами — брязь на стол:

— Пользуйтесь, православные... Можя у кого недостаток...

И заголосила, прикрывшись локтями, не в полный голос.

Сошлись еврей, кто убежал, за Никифоровым током. Жмутся в кустах овечьей пугливой стайкой. Всклипывают женщины, детишки, дрожат.

— Не плачьте, Ниса Лейбовна... Разве слезами поможешь?..

Вывался Мендель от Петьки Шихалы, заглянул сегодня смерти в лицо.

— Это ж не люди!.. Это же — пьяные псы... Что им наши слезы?

Колотится Мейер от холода, засовывает руки глубоко в рукава, — не помогает, стынут руки выше и выше — за локоть.

— Бог... — говорит он, проглатывая отдельные буквы, — бог карает нас... Забыты пророки, молодежь не слушается стариков... Он карает... За дело карает...

— Брось, Мейер!.. Без тебя тошно. Бог очень скор, когда надо наказывать, но он не торопится, когда надо спасать... Нужно подумать, что делать!..

Провалились у Залмана глаза, стали еще грустнее и глубже, оброс подбородок черной колючей щетиной. Сегодня за день потерял он отца, брата, жену.

— Слушай, Мейер... Я решил! Вы оставайтесь здесь, а я пойду...

— О чем ты толкуешь, Залман? Куда ты пойдешь?..

— Туда...

— На свою гибель!.. Разве там не одно и то же?

— Не одно и то же, Мейер...

Скрылся Залман в снежном веселом гульбище — от куста к кусту.

Оторвал Никифор пристывшую дверь:

— Примай, Ахрем... Не один буду — с гостями.

Плачут без слез передрогшие, захлебнувшиеся испугом кучерявые черноглазенькие ребятишки, прижимаются к материнским грудям. Застыла складками тоска на женских измученных лицах. Сверкают напряженно недоверчивые глаза мужчин.

— В чем дело? В чем разница? В чем ошибка толстых пожухлых священных книг?

— Да где же вы раньше были? — улыбается Ахрем. Недрится в рыжей щетине мужицкая добродушная ласка.

— Где были?.. Хо-хо!.. В кустах были! Стоюгли своего току, слушаю — за оврагом горазд веселье, гармонь — на немецкой, должно, Пуля старается. А Залман и идет... Я говорю: ты ты один остался? Нет, грит, еще, грит, есть в болоте. Ну, говорю, тащи их сюды — обогрейтесь...

— Вот чудакн-то!.. Чего же вы сразу не шли? Тяжело, без улыбки отвечает Залман за всех.

— Говорил я... боялись... Не понимаем ведь.

— А что ж тут понимать?.. Дело не хитрое.

— Менделя меньше бы слушались... — говорит Янкель, поднимаясь с скамейки. — Он вас — научит!..

Смутился Мендель, заегозил блудливо глазами.

— Я что же... Я сам... Это все — Есель...

— Ну-ну, заходи все... не бойся... Вот сидеть-то у меня не на чем... Ганка, согрела б котел? Вишь, ребятишки на холоду замодели...

Заторопилась, засуетилась костлявая Ганка, раздула в ямке запавший огонь. Говорил Янкель — не поймешь чего. Вскакивал, руками махал: похоже — схватится с Менделем в рукопашь. Но обошлось, не схватились.

Незнаючи поглядишь, поглядишь — скажешь: сходка.

Сидят мужики бородатые, безбородые, чинные, разговаривают промежду себя чинно, спокойно, не торопясь: про поповскую работницу, что удавилась летошний год вместе с поповской прибылью, про Никитину двустволку, что стрелять хоть и стреляет, но не так вперед, как назад, того и гляди с ног сбросит, про коровью промочку — отчего она бывает и как от нее оберечь коровье драгоценное здоровье.

Только непривычный винтовочный лязг при-сохшими, приросшими замками, да едкая вонь пропахших застарелым порохом нечищенных никогда дробовиков, да мышинная суетня под ногами довольных, восхищенных интересным и праздничным ребятишек, — вот чего не бывает на обычном сходе, вот отчего нет, нет да и всхлипнет украдкой полнотелая чернобровая Ванькина молодуха:

— Осподи!.. Чим-то все это кончится?..

Глотнула морозу хата:

— Петр Матвеевич, подходят, истинный бог!.. Гришкин малец прибег, сказывал — усим гомозом!..

Забыл разом Мазин, о чем говорил, надел, не подумав, чью-то солдатскую ушастую шапку, сказал, вылезая из-за стола:

— Ну, товарищи, теперь — стои!.. Теперь самая главная стартогня — через овраг ни-ни!.. Чтoб ни одна живая душа!..

— Это само собой, товарищ Мазин! Смогем продержаться покудова...

— Ну, кто стражаться охотники? Сбирайся!..

Заволновались, заходили, запрыгали гримзные дырлявые полущубки, заторопились, как на станции с приходом транзита.

Подошел Янкель к Мазину, остановил на ходу:

— Чего — охотники?.. Всех надо!.. Всех, кто ружье удержит!..

— Спору нет... А чем стрелять будем?.. Ружья-то где?..

— Кто без ружья, вилы бери... А убьют кого, смотришь — подмена!..

— Дело! Ахрем, дай Янкелю наган. Тебе лишний. Стрелять-то как? Ловок?..

— Эх! Пулеметик бы нам!..

— Слышь, Залман... Бери Никанорову шом-половку. Ен винта раздобыл!..

Высыпали на улицу мужики, баб, ребят—в дальний край, в Матвееву баню.

— Залегай, залегай!.. братишки, залегай! Эвоп снегу-то сколько... Чистые окопы!..

Спросил Ахрем, придушив глотку:

— Ты как, в надежде, Мазин? Подспеют из города?.. А?..

— Да ведь кто ж его знает... У их и у самих может делов не мене нашего... А ты что?.. Смерти испугался, или как?..

— Разве я об себе?.. Не об этом речь...

— Ну-ну...

Слезает старая Анисья с печи — по нужде видать приперло, крестится.

— Ох-хо-хо!.. Грехи наши смертные... Владычица!.. И что только делается?.. И на свете такого никогда не было!

Зацепилась подолом за выступ, тянется скрюченной ручонкой — не отцепить, — хоть что хошь.

— С турками воевали, на японца ходили, проти немца шли... а такого не было... Нет, не было, чтоб друг проти дружки...

Дотянулась, дернула невзначай, разорвался сарафан длинно, ровно — чиррр — по ножу.

— У-у-уутту!.. Неслыханные руки... Сарафан-то какой был!.. Муж покойник молодухе справлял, ох и доб сарафан!.. Всам селом любоваться ходили... Видно всему кончина приходит...

Возвращаются мысли опять к главному, беспокойному, непонятному:

— Не было... Не было такого, чтоб друг проти дружки...

Нехотя ворочаются бабкины ветхие мозги, зацепляют стертыми зубчиками, вытаскивают наружу старое, давнее, забытое...

— Ну раззорили один год барина Михал Николаича усадьбу, так-то ведь — барин... Тоже вот — деревня на деревню с дрекольем шли. В чем корень? Покос...

...Было, было похожее — убили братья Пузыкины старосту Ивана Васильева, вечная ему память...



В каком это году?.. Так же вот Шапки горели... — что на последних открылось? Свой же работник по злобе сжог... Так ведь тогда и народ и суд осудил! А теперь — не знаешь что такое и есть, сомутился народ всей чисто!

— И куда помчалась, и куда полетели шаленные?.. Никита и тот двухцволку сгрёб, покрутился, не пимши, не емши... Ох-хо-хо-хо!.. Сколько народушка перепортили...

Взбрыкнул у ног носастый теленок, проснулся под печкой, захлопал встревоженно крыльями, заговорил басовито петух.

Пьяно трещат винтовки, перебиваются по-собачьи, гвоздят свинцом пуховый сугроб.

Уж сколько раз Виктор командовал:

— А ну, ребята... разом!.. нажми!..

Не слушаются Виктора, не решаются спуститься в овраг. Свою шкуру каждому надо.

— Ты бы сам и нажал!.. Храбрый!.. Сыпь, коли о двух головах...

Злится Виктор, бесится: «Ну, погоди, я вас скручу... Я вам покажу дисциплинку»...

Вглядывается Цавренко в недалекую темь — что делают? не готовятся ли?.. не идут ли?.. Не разглядишь.

Об одном забота, об одном беспокойство — патронов мало... Выйдут патроны — забирай тогда, как бруснику во мху.

— Товарищи, не стреляй!.. Береги патроны!..
С дробовиками — не воевать...

Притихла стрельба, насторожился овраг, затаил
дых. Беззвучно ложатся на лица большие сне-
жинки.

Привстал вдруг Цавренко.

— Теперь крой, теперь вали!.. Крой их, крой!..
Не допусти перелезть!..

Взыграл овраг на две стороны дружным хохотом
развеселым. Сошлись овражные бока стена к сте-
не, спаялись в мертвой костяной хватке.

Силится Янкель, давит занемевшими пальцами
Васькину глотку; чернеет, слипается комом снег
под Янкелевым боком.

Поднялся Ахрем с колена, размахнул винтовкой
как тросткой:

— А мать-перемать!.. В погонах ходишь?..

Упал Виктор с проломленным черепом.

— Товарищи родимые, не сдавай! До помощи
держишься, товарищи!.. Отобьемся — наше будет!..

— Бей комиссаров!.. Кроши!.. Изничтожай апо-
следки!

Спит ледяной, суровый бор, рвут копыта зве-
нящий снег, в такт добротню и веско урчит селе-
зенка конячья.

— Эй, товарищи, приналяг, приналяг!.. Не дре-
мли... твою в душу!..

— Что, братишка, далече еще?

— Столько будет, как было.

— Впоздаем, как есть!..

— Не впоздаем, такое ли дело...

Рвутся кони сквозь буйный лес, вьется ветер
в витых хвостах, мчатся люди быстрее, чем кони.

...Заметает белый пух свежий след из ближай-
шего города.

1923

ОНУФРИЙ ВЯЗАНКО

1. НОВОБРАНЦЫ

— У него язвы. На ногах язвы. От ханжи. Пьет невареную.

— А ну, за твое здоровье.

— О-го-го-го!.. Хха-а! Хороша... твою мать!

— Наши ребята все так. Нет ханжи — сейчас к студентам: так мол и так, товарищи, нельзя ли от покойничка... Ну и дуют.

— От покойничка?!

— От покойничка... Вкусу много больше.

— Пес вас дери! Вы, питерские, как собаки, и спирт от покойников жрете. Нехристи!

С сердцем поставил стакан, заскрипел, затрепал на гвоздях ломаный табурет. С-е-ерьезный парень. Хоть и молодой. Настоящий крестьянский сын.

— А у нас в Питере... как я старший мастер и монтер... Потому мне наплевать!.. Одна серость, тьфу!

— Ну кто против всех? Я, Онуфрий Вязанко, как я есть — старший мастер и монтер. Опять же,

кто за всех? — я, Онуфрий Вязанко. Ты куда ни брось — все я выхожу. Потому — мы интереснее!..

Шапка съехала на затылок, волосы вываливались из-под козырька и обвисли на лоб. Цепочка на груди блестит серебром. И весь он такой — праздничный. Не наш, но деревенский. В штроблетах.

Тесно и душно в хате у Еселя. Шесть человек сидит за столом, а уже кажется, что и не нашлось бы места седьмому. Чуть шевелится выцветшая занавеска. Сидит на сундуке и дремлет и качает внука старая Еселиха. Невысокий сухой старик с головой библейского патриарха прижался к печке и греет скрюченные пальцы, как-будто им холодно. Посматривает сторожко на окна. Это Есель.

Лучший в уезде деготь — у него, лучшая самогонка — у него же, у Еселя.

Поэтому и собрались к нему новобранцы провестись последнюю ночь.

Всех знает Есель. Вот этот маленький кучерявый — Емельян с Лукьянова. Ничего, живет хозяином... А этот, что угрюмо сидит наклонив голову над стаканом, — Иван Ефимыч. Суровый парень, весь в отца — сурового и угрюмого богача старовера. За богатство очень уважает его Есель. Против всех отличает... Еще бы, не чета, вон, тому, что забрался в самый дальний угол, где у набожного крестьянина бывает целый

иконостас. Это Федька. Озорной парнишка и на руку нечист. У батьки на дворе хоть гулянку устраивай. Последние колеса ему же, Еселя, третьего дня выкатил за хлеб.

А вот этого, питерского, что величает себя по фамилии-имени, плохо знает Есель. Нездешний он, не здесь и рос. Приписая к волости. Вот и приехал. Призывается. Не нравится он Еселя. Очень уж дерзок и в глазах беспокойный. Тих покамест. А все же кабы чего не сделал. Видал Есель таких-то. Порченный народ, фабричный.

— Ну, старик, тащи еще посудину. Не видишь, что ли?.. Не сидеть пришли.

Вздрогнул Есель, отскочил от печки.

— Сейчас, дорогие, сейчас. Одной минутой!— Побежал суетливо. Скрылся за занавеской и, нырнув под полог, долго возился там, гремя стеклом.

Тонкий фальцет взвизгнул над головами.

Ой меня в Себеже сдавали,
Ой в белокаменном да-му-у...

Затряс Емельян от избытка чувства кучерявой, бараньей головой.

Ой остались ж ман д'кудри.
Ой на холод-н-ым да на палу-у!..

И опять завыл Емельян... И все затихли на мгновенье, и каждый почувствовал, что про него эта песня сложена, что его это кудри, что так

нежила, целовала, разглаживая, любимая, что вот эти-то ласковые, выцветшие от солнца и ветра кудри разметались на грязном заплывающем полу казенного каменного здания.

— Хорошо, Федя, поешь... Хорошо! Гармонь бы вот еще. Сходи, Леша! А? Сыграл бы, друг...

Ой навабранчики та голубчики.

Эх, ну пеужел ж вам легко!..

И удесатерилась боль, и парастала волна безысходной тоски. Давила она тяжело, и хоть никто бы не сказал, не выразил в словах о чем тоска, почему тяжело, но быть может еще и оттого, что захмелели слегка крепкие мужицкие головы, — хотелось плакать, и рвать на себе рубаху, и бить тяжелым корявым кулаком по столу, и кричать истошным надрывным голосом:

— Не хочу-у! Не хочу... никуда!..

А Федька все пел, выводя куплет за куплетом, монотонно и жалостно, на псковской напев:

Ой, против зимушки-ж-та холодной.

Ай, вас погонють далеко.

— Брось ты канитель тянуть! Как над покойником. Ох уж и песни у вас! Деревня, одно слово... Был у нас один на электрической станции. Из ваших — себежский. И потеха же с него была! Мы сейчас, как работу кончим — в трактир: пару пива да селяночку... А он сядет на крыльце, да вот так же, как Федька, затянет:

Ох, я у тятки корки ела....

Смех, право! А то раз, как сосватался, к попу пошел: «я, грит, исповедаться буду, потому как грех против начальства бунтовать».

Поглядишь вот на вас таких — и смех и горе. Уж чего там... одно слово!..

— А ты полегче, не заносись!.. Мало что там у вас, в Питере. У вас там бесстыдство и нахальность одна, а здесь люди правильные. Ты не высмехай-то над песнями, а спой-ка сам, коли лучше знаешь.

Это Иван Ефимыч. Не нравится ему тоже питерский гость. Пустой вроде как и нахальный человек. Только и цена, что штиблеты да цепка... А у самого-то может и на хлеб нет.

— Братцы вы мои! Дорогие вы мои!.. Ну куда мы пойдем, ну куда нас погонют?.. И зачем я такой на свет произошел!.. Федя, родной братишка, спой еще, облегчи душеньку!.. О-ох, не могу, тяжело мне! Непереносно мне!..

Взвыл вдруг молчаливый Алексей. И было это последней каплей, переполнившей сердца напряженные тоской. И почувствовал каждый, что «непереносно» и ему, что сядет он сейчас вот тут на пол и завоет по-собачьи во весь голос, и будет кататься по грязи и биться головой о твердые доски и умолять о пощаде.

Поднялся во весь рост. Покривился стол и упали стаканы.

Вздрыгнул пригнхший Есель, сделал движенье к столу и остановился.

— «За веру» идете? «За царя, отечество?».. Вшей идете кормить... Издохнуть в окопах... Жизнь свою идете отдать, здоровье... Все возмут... А что вам дали?

Зазвенели и упали на пол стаканы. Загрохотала обрушившись трехногая скамейка.

— Вера? — тьма тьмущая, серость. Школы надо, а не церкви, учителя — не попа. Спроси меня — кто худший враг? я скажу — вера!.. Так вали, издыхай — стоит того!..

— Отечество? Где оно, кроме нас? А нам война — к чему?.. Дураков ищет, кто скажет — война за нас!.. Полезай в окоп, отмораживай руки-ноги!..

— Царь? — Это верно!.. За царя воюем. Чтоб он, проклятый, и дальше над нами властвовать мог... На нас ездит, да нами и держится!..

— Ты спроси Онуфрия Вязанко — за что идем, куда идем? — Он скажет, он знает... Мы все знаем, питерские.

— Ну, Лешка! А? Что же плачешь, что же рыдаешь? За великую радость должен почитать, что берут тебя, дурака. Плясать должен, петь должен! А ты плачешь. Матку жалеешь? По девочке скучаешь?.. Ерунда, плюнь!.. За веру, за царя издохнешь! Гордись!..

— А вот как тебя, да за такие за слова — связать да в город!.. Ишь выискался, проходимец. Видали мы вас!..

— Что ты, Онуфрий, братишка!.. какие слова... В уме ль ты, родненький! Выпей, милый... Вот!.. Легче будет... Выпей.

— Да не хочу я, брось!.. Бараны вы, вот что... Ездили на вас и будут ездить. И за дело!.. Потому, как жалость с вас одна. Эх... Ну, не по пути мне с вами, значит!

Встал. Поправил картуз. Хотел что-то сказать, но только махнул безнадежно рукой. Большими и не совсем верными шагами прошел к порогу.

— А может кто и со мной? А? Может кто и не так?.. Э, да нет, серость!.. Уж чего там...

И хлопнул тяжелой дверью.

И тонким фальцетом взвизгнул вслед голосистый Федька:

— Я с тобой, Онуфрий, я!.. Погоди!..

2. ОДИННАДЦАТЬ

Их было одиннадцать.

Пять членов Российской коммунистической партии, остальные — беспартийные.

Из двухсот человек в полку только они остались в живых.

Целые сутки отсиживались люди в болоте от наседающих колчаковцев. Целые сутки, голодные и почти без патронов. Отступали. Потеряли связь. Выяснили, что окружены со всех сторон. Решили не сдаваться. Не сдались бы и эти, да... пульт

нехватило. Последнюю в нагале — военному полка Сивакову. Поблагодарил он, попрощался и умер. В висок...

Одиннадцать были взяты.

Их привели в деревушку и заперли в хлеву. Есть не дали.

Решили обсудить положение. Бежать? Как? Через крышу? Можно, но часовые! Вооруженные до зубов. Трое. Ничего не выйдет! Что сделаешь с голыми руками? Нельзя бежать.

Длинная мучительная ночь. Ожидали: вот придут и все будет кончено. Не шли.

Утром начался допрос. Молоденький щеголеватый поручик выяснял большевиков. Документы у всех уничтожены. В одежде отсутствует какое бы то ни было различие. Нельзя распознать: кто командир, кто красноармеец, кто коммунист, кто беспартийный.

Нервничает поручик, пощипывает усики.

— Назови комиссаров и коммунистов!.. Будешь жив. Ну, слышишь? Зачислю в роту, будешь служить... Называй!

— Так что, коммунистов у нас не находится. Померли коммунисты, не сдаются... Красноармейцы мы. Мобилизованные.

— Врешь, стерва, сам ты большевик, по глазам вижу!.. Ударил по лицу. Кровь показалась из ноздрей. Потекла вздрагивая по молодому рыжеватуому подтянутому лицу.

— Никак нет у нас большевиков.

И один за другим пропpli перед поручиком все одиннадцать.

Ни один ни словом, ни взглядом не выдал ни себя ни товарищей. И коммунисты и беспартийные. Одиннадцать — как один.

— Все вы большевики, все! Мерзавцы!.. Расстрелять мало. Жилы повыдергать... Проклятые!

Бил допрашиваемых резиновым концом. Бил долго, с чувством. До тех пор, пока у лежащего не попалась кожа на вспухшем теле.

И веселая мысль пришла в голову изобретательного, незаменимого на вечеринках поручика.

— А что если... А что если соли!..

Нестерпимая, адская, нечеловеческая боль. Но они молчали.

Все одиннадцать.

Поручик устал. Даже звездочки на плечах потускнели.

И собрались снова все вместе, одиннадцать в свином хлеву.

— Товарищи, так нельзя, так не нужно. Зачем умирать всем, товарищи! Все равно выбора нет, нам коммунистам один исход. Самим назваться — пользы мало... Укажите вы нас!.. Не правда ли, товарищи коммунисты? А? Пусть беспартийные нас укажут. А?..

— Что же, товарищи, тут рассуждать нечего, каждая жизнь ценна. Нам все равно смерть, а они спасутся. Сумеют перейти к красным. Отометят. Расскажут... Это правильно...

— Ну так... Товарищи... Я, комиссар батальона... Приказываю вам именем революции назвать нас офицеру... Вы обязаны!..

Молчат. Сумрачные, черные, истомленные лица.

Так близка смерть. Так страшно хочется жить. Жить, во что бы то ни стало.

Ведь он приказывает... Значит никто не будет виноват, мы обязаны. Приказ... Шевелятся слабые мысли, подсказанные инстинктом жизни. Так хочется оправдать, объяснить, доказать себе:

— Право жить...

И вышел один. Отопалый, измученный. Висит обмотка разорванная. Шапка без козырька. Сверкают глаза на сером лице. Волосы слиплись на лбу.

— Я как, товарищ комиссар... Как рабочий... питерский. Как я есть старший мастер и монтер... Я говорю!.. За что вы нас так обидели, за что вы нас хуже чем палкой собаку? А? Я, Онуфрий Вязанко, беспартийный... И я говорю: мы, беспартийные, вас не предали, а вы нас предаете!.. Да если хоть одна гадина найдется среди нас, что купит свою шкуру такой ценой... Задавлю!.. своими руками!.. Эх, товарищ военком!.. Вместе жили, вместе боролись, а умереть вместе—и не годимся?.. За что так, товарищи?..

Не выдержал комиссар, бросился на шею красноармейцу.

И все собрались вместе и ободряли друг друга и говорили о мировой революции, о Советской

страно, о радости борьбы и радости смерти за самое главное, за единственное, за что стоит бороться и умереть...

Их было одиннадцать.

Вечером за ними пришли. Заставили раздеться. До-гола. Перевязали за спиной руки. Повели...

И под дулами ружей стали в ряд, как один — все одиннадцать.

1922

НЕМОТИВИРОВАННЫЙ СЛЕД

Ввиду категорического отказа заведующего типографией Завьялова выполнить задание в необходимый срок и в необходимом тираже был срочно вызван в редиздат Поарма акцидентщик Нориц.

Спешное оперативное задание хмурого и строго начредиздата Броварского, товарища с грустными глазами и щетинистым подбородком, выполнялось запыхавшимся курьером, как и подобает, в неотложном порядке.

Несмотря на поздний час и тревожное время, дружными усилиями нескольких добровольцев, типографских ребят, после четырехчасовых тщательных поисков удалось, где-то в вонючих и черных провалах отскочившего в бок от города Заречья, напасть на Норицев путанный немотивированный след.

Неожиданные замысловатые петли этого человека, однако, нашли свой естественный предел у подгнившего домика столяра и самогонщика Власова. Путем перекрестного допроса юркоглазого столяра, присутствующими наборщиками и было

установлено с несомненностью, что неподвижное тело Норица действительно лежит на Власовской шубе в пристройке и вставать не только не намерено, но и не может...

...А в это время нервничал телефон двумя сухими жесткими трубками: рвал отрывистый бас начпоарма Батулина, строгим сдержанно-тревожным тенорком парировал Броварский.

— К работе не приступили? Когда же? Вы же знаете — ждать нельзя!..

— Товарищ Батулин... Я не понимаю. Задание почти невыполнимо... Тут и техника и потом, вы знаете, — расхлябанность... но мы сделаем, что можно... может быть не все...

— Нужно — все!.. Если будут барахлить — принять меры. Добиться на сто процентов!.. А техника — это уж ваше дело, на то вы и редиздат... Несете личную ответственность.

Звякнула трубка. Как укусила.

Бешеный взлет рукоятки:

— Алло!.. Типография? Где Нориц? Нашли?.. Куда же он делся!..

Одинокой сорокой трещала машинка в пустой, громадной соседней комнате.

...Оперативная срочность не терпит отлагательств. Под руки, бережно, как хрупкий и ценный хрусталь, был доставлен Нориц в первом часу ночи в редиздат. Лицо его, облитое нашатырем, исцекотанное назойливыми куриными перьями, украшенное вспухшими от усердного трения уха-

ми, от природы изъеденное густой червоточиной оспы, — было задумчиво и печально:

— В... бога, в мать... в редиздат...

Только время от времени вспыхивали глаза колючим огнем и кулаки непроизвольно сжимались, сливая разрозненную типографскую краску в один сероватый и мутный сгусток. Тогда голос курьера становился просительным и прощниковенным:

— Ну, Нориц... друг!.. ты после... ты их потом!.. А Броварский тебе на опохмел обещался... Вот и все скажут... Друг!..

...Говорил начредиздат, испытывая с сомнением глазами состояние долгожданного Норица. Проверял по теням, по складкам лица утвержденья Завьялова.

Покручивал Завьялов усы — черный слепленный жгут, молчал, косился в полглаза на Норица. Прижимался, как к брату, к нетопленной печке Нориц, обмякли алкоголем расслабленные руки, дрожали коленки, как у опоенной лошади, понуро обвис четырехугольный костистый подбородок.

— Тираж 100 000. Не позднее чем к 4 часам должно быть закончено... Оперативная скорость. Невыполнение — расстрел. Понятно? Отказ от работы, как саботаж... Все полномочия даю Норицу. Вам, товарищ Завьялов, предлагаю выполнять все его распоряжения, как мои... Нориц, ты слышишь?..

Нориц неопределенно качнулся.

Злоба скользнула ужом в черных щелях Завьяловских глаз.

— Что ж... Расстреливайте сразу, когда так. Сказал и покосился на Норица.

— Выполнить это задание нельзя. Я сколько уж раз говорил... Спешное надо давать заблаговременно!.. А так — что-же? У нас нет машин... Так невозможно!..

С'ежилось вдруг к центру, к щербатому сизому носу, Норицево лицо. Хитрыми тоненькими лучиками у глаз, хитрыми знающими складками у губ, в глазах откуда — сознание — лукавство, смех.

— Тещу ждешь!.. — рявкнул сипло и неожиданно — и затаился, готовый прорваться придавленным смехом.

— Тещу — поддаждываешь!..

Горестно изумился Броварский, начредиздат... подумал:

— Плохи дела... Пьян в дребезину.

— Нориц! Какая тут теща?.. Очнись!..

Медленно отхлынула кровь с Завьяловских щек, посизело лицо, как присыпано тальком, сделалось вдруг ярче черное — усы, виски, глаза.

Подмигнул Нориц в сторону начредиздата лукаво, вскипел неожиданным гневом, оторвался от печки, вплотную к Завьялову подскочил, изогнулся над ним, как раз'яренный кот:

— Теща какая?.. Мать, в бога, в душу!.. Он знает — какая теща... Он не спрашивает, какая теща!..

Слабо улыбнулся Завьялов начредиздату:

— Он пьяный... Видите? В доску...

— Я — пьяный?.. Я?! На месте угроблю!..

Сжатым кривым кулачищем в усы, в Завьяловский жгучий взвинул.

— Нориц!.. Не смей!.. Арестуй!..

— А плевать я хотел!.. Арестуй!.. Страсти какие... Я — анархист!.. Бросил Завьялова, прыгнул к книжному шкафу, сощурился, из-под ресниц глаза — мышата, веселые, довольные, выжидающие:

— На-ко брат, выкуси!.. Что возьмешь?..

Покраснел, нахмурился начредитздат, рука к телефону. За рукой две пары глаз.

Засмеялся веселым добродушным фальцетом Нориц, печатник, прыжком к столу:

— Арестуй!.. Да его — не забудь.

Пальцем в Завьялова:

— Тещу он ждет. На полячке женат!.. Теща с поляками едет... А работу — ведь сделать можно...

Шагал Завьялов по талому снегу, ноги ставил широко и твердо, не поспевали за ним мелкорослые, в намокших обмотках красноармейцы.

Носился в типографии Нориц, сумасшедшей потерявшей пути взбунтовавшейся пулей. Оставлял за собой матершинный след. Подчинялись покорно магической силе многосложных формул машины, реалы, кассы и люди. Десятками рук без усталости выпаывают чернеющие квадратики. Де-

сятками рук, не глядя, наощупь, вылавливают нужную буковку-букашечку. Трепчат верстатки, оплодотворяясь свинцом, рождая строчку. А из строчек гранки, а из гранок — листовка:

ПОЛЬСКИЕ СОЛДАТЫ!

В Советской России земля и заводы принадлежат рабочим и крестьянам. А в белой Польше — помещикам и фабрикантам. Протяните руку трудящимся Советской России, сбросьте гнет панов и буржуев, захватите власть в свои мозолистые руки....

— Шестнадцать наборов... Четыре машины... Чем занята?... Газетой?... В бога, в мать!... Выкидывай газету!... Пусти-ка, я сам.

В четыре часа другого дня лежали готовые листовки высокими стройными колоннами в углу переплетной.

В пятом часу неутомимые экспедиторы из частей грузили четырехугольные, тяжелые, перевязанные шпагатом пачки на двуколки и автомобили.

К вечеру начагитпропы ближайших подивов старательно размечали по спискам, куда и какую партию листовок нужно отправить.

А в четыре утра последовал приказ об эвакуации.

Обалделые коменданты и начхозы оборвали телефонные провода, загоняли курьеров, замучили нейстовой гонкой из города на вокзал, с вокзала

в город, кожаных, прокопченных шофферов. Эшелоны грузились за эшелонами, выстраивались в затылок, устанавливались на запасных путях, иногда — после непродолжительной бряцающей железом раскачки — из недр вагонного месива вытягивалась стройная кишка набитых до отказа теплушек, паровоз хрипел и кашлял застуженными легкими, и вслед ему с завистью смотрели администраторы и штабники:

— Уехали... Счастливики!.. Хоть бы нам уж скорей.

На вокзале, на перроне, на товарной — сумятица: санитары какого-то госпиталя, красноармейцы штабной хозкоманды, стрелки какой-то дивизии, машинистки и машинки ревкома, воинственно-настроенные агенты ОРТЧК.

А на бумаге, а в приказе стройный порядок, стройная система, строгая очередность.

Потянулись сизыми ящерами по городу, от дома к дому, таинственные значительные слухи. Проснулся город, замер как сонный, — из щелей, из ставен, из подворотен глядит многотысячными возбужденными глазами:

— Тикают... пся крев!..

— Пан Пильсуцки покаже большевикам!..

И другое:

— Не ленкайся Андзю!.. Я прентко бендзи туты, кедє повруцише красно вуйско.

— Муй коханий!.. Поментай!.. Повруцей прендзей!..

Откуда-то стало известно, что красноармейские части, охваченные с фланга, откатились за десятки верст, что город слева обойден поляками, что еще один-два нажима и удастся им оторвать растянувшийся эвакуирующийся тыл от отступающих действующих частей.

Еще бешеной забегали начхозы и коменданты, еще беспощаднее потоняли груженных имуществом лошадей усталые красноармейцы, еще тревожней на сердце у хозяйственников и штабников.

Редиздат поарма со всеми своими редакциями и папками рукописей перебрался в свободный вагон походной на колесах типографии поарма и ждал паровоза.

Начали было грузить части машин из губернской большой типографии, кое-что погрузили — с нарочным, срочно — секретно — приказ:

«Редиздату, типографии, немедленно выехать на станцию... Обслужить литературой части... дивизии... Восстановить регулярный выпуск газеты, погрузку отставить...»

Выругался жестоко Броварский (не часто ругался), крикнул ребятам: «кончай грузить». Справился о паровозе у коменданта, вернулся в вагон. Посидел бездумно, снял жесткую свою колючую шинель, под голову — портфель и шапку, лег, накрылся, — бессонная ночь, слипаются против воли глаза. Вдремнуть покамест, что ли?

Беспорядочными винтовочными выстрелами ответил вокзал.

— В чем дело?

Затягивал с перерывами, с передышкой, недалекий пулемет.

Вскочил. Наган на взвод.

— В чем дело?

— Ложная паника, товарищ, — сказал ближайший от вагона белокурый улыбочатый красноармеец.

— Ихний аэроплан полетел. Думали что, — а он вот чем обстреливат.

Протянул Броварскому запачканную в перронную грязь бумажку. Белопольская листовка. Улыбнулся:

— Как заливают, варлахи. Дозвольте, товарищ, у вас прикурить...

В вагоне расправил листок, прочел:

Береги эту листовку — это пропуск к нам.

КРАСНОАРМЕЙЦЫ!

Долой войну! Да здравствует справедливый мир! Это клич, с которым идут к вам польские солдаты.

Комиссары предлагают Польше мир одновременно уклоняются от него, толкая вас к новым наступлениям и новым атакам.

Комиссары ложно говорят о бессилии польской армии и о том, что ее легко победить.

Красноармейцы! Вам лучше всех известно героизм польских солдат и непобедимость польской армии.

Комиссары, желая продолжать войну, посылают вас в бой.

Красноармейцы! Вы должны ответить: «Долой войну! Ни одной атаки, ни одного выстрела!»

Если вам прикажут идти в атаку, переходите на сторону польских войск. А чтобы вас не заподозрили в шпионство — приносите с собой эту летучку. Покажите ее, а вас примут по братски.

Красноармейцы! Долой войну и кровопролитие!

Идите к нам и вместе с нами встретите праздник мира. А закончится война и вы спокойно вернетесь домой.

Долой смертоносное оружие!

Приносите это письмо, и вы найдете у нас мир и приют. Довольно жертв и крови!

ПОЛЬСКИЕ СОЛДАТЫ.

Грамотный, читай неграмотному.

Засмеялся.

— Ну, с этим далеко не уедут!.. Нет, наши листовки покрепче будут. Вот хотя бы последняя. Вспомнил Завьялова. Отпустили его, или... пожалуй, что и так... Спешка! Ну и за дело. — А когда закрылись сами собой обессиленные глаза, рассыпалось вдруг что-то внезапным грохотом, вспрыгнул, успел подумать: «опять», увидел в открытую дверь знакомый истырканный нос, перекорченное лицо, на лице две оловянные пуговицы — карабкался Нориц в вагон, высоко задрав ногу, обутую в рванный армейский сапог:

— Так как же ж будет?.. Так и оставим?.. Ведь — папам, папам все достанется!..

Взгромоздился. Огромный. Сутулый. В английской непересчитанной шинельке.

— Что же сделаешь, Нориц! Сейчас отправка. Времени нет.

Сказал, потянулся.

— Э-эхх! И уснул же я было, друг.

— Как же ж быть, товарищ Броварский? Ведь сколько машин, новенькие. А шрифтов? У нас же нет ничего! Неужели полякам попользоваться?

— Слушай, Нориц. Приказ точный! Надобно выполнять... Мы сюда с походной приехали, с походной и уезжаем... Хорошо бы, конечно... Да что ж поделаешь!

Сорвался Нориц, замахал руками, головой, всем туловом:

— Дай бумажку!.. Я сделаю! Я знаю, что делать... Ты только дай мне бумажку!

— Останешься здесь?

— Останусь...

Помолчал, подумал. Вынул служебный со штампом блокнот, написал на листке крупным размашистым почерком, поставил печать.

— Ну, попробуй.

Отдал. Свернул папироску, зажег.

— Только ничего из этого дела не выйдет... Поди-ка достань-ка подвод!.. Об военном транспорте и думать сморшно. Зря провозишься, Нориц.

Ничего не ответил, с подку бумажку поднял — польская листовка. Повертел — спрятал в карман: пригодится курить. Сказал:

— Разбрасывает...

Внимательно посмотрел на бурый свой лапленный носок, увидел должно быть там что-то, буркнул, не глядя:

— Оставь мне наган.

— Это зачем еще?

— Я частных подводчиков знаю... Есть тут... Своих не добьюсь — достану.

— Вот это так!.. Дай тебе наган — ты полгорода перепортишь. С веселых-то мыслей!..

Усмехнулся, тонко прибавил:

— Ты ж — анархист.

Вскинул Норич рукой, как от мухи досадливой отмахнулся.

— Не то. Зачем я стану людей стрелять? Они и так повезут. А мало ль: останусь!.. не успею уехать... Тут вот мне пулька и пригодится.

Выпустил нацредиздат Броварский облако крепкого дыма.

— Одна?

— Не крепче людей. Больше не надо.

— Хорошо. Видишь? Шесть вынимаю. Одна — твоя. Бери.

Сунул револьвер в оттопырившийся карман, все так же, не глядя, бросил.

— Спасибо.

— Не стоит. Верни потом, если что...

Заскрежетала дверь ржавыми роликами.

— Ладно.

Вис над городом пухлой периной мокрый, холодный туман. Глухо урчала в перинах далекой грозой тяжелая артиллерия.

Иногда, как всплеск молнии, раскалывался туман на куски. Вздрагивал застоявшийся воздух, дребезжали стекла домов, сыпалась мелкими камушками штукатурка, и стаи сытых ворон взнимались с высоких берез городского парка и тревожно крутились над городом.

Горели артиллерийские склады.

В разных местах, то и дело, переплелись одиночные винтовки неизвестных стрелков, одинокие бесцельные пули бороздили туман в поисках неизвестных мишеней.

Замками и шторами отгородился город от предательского тумана.

На пустынных улицах редкие торопливые фигуры перебегающих от ниши к нише ежащихся прохожих. У закрытых толчковых лавчонок шепчутся, покачивают горестно седыми висками старые, длиннополые евреи; делятся последними новостями; выцветшими, многодуманными глазами допрашивают туман:

— Что в нем? Какое будущее в пронизывающих мутных его складках? Лучше ли?.. Хуже ли?..

Молчит город. Молчат фабричные трубы. Молчат предместья.

На Заречьи, через старые свои, прочные, скрепленные многими бутылками связи, удалось акци-

депტიку Норицу добыть несколько запряженных в разбитые дребезжащие колеса лошадей.

Упирались сначала подводчики, кричали и клялись несравненно больше обычного, били ладошами по коленям и по Норицовой сутулой спине, матерно утверждали, что своя жизнь дороже, и что поляки уже — не иначе, — в городе, и даже Селезниха, шустрая бабенка, собственными глазами видела жолныша, — как вытаскивал он из ревкома большой никелированный самовар.

Однако, побежденные неизвестным, но очевидно неотразимым доводом, сообщенным им Норицем почему-то вполголоса и с хитрым подмигиванием сощуренных глаз, согласились, наконец, подать лошадей в типографию, при условии, что грузить будут не они, и сама погрузка произведена будет в кратчайший срок.

В типографии, куда вбежал Нориц, поправляя рукой трущийся в кармане, мешающий наган, несколько десятков человек в растерянности стояло у полуразобранных машин и сгруженных касс.

Матюгался ядовито и зло чахоточный Иванов, метранпаж, неуверенно бубнили в ответ несколько взволнованных голосов. И первый, кого разглядел Нориц, был заведующий типографией черноусый Завьялов.

Сразу стало понятно все. Не останавливаясь, будто и нет никакого Завьялова, бегом к машинам:

— В кишку, в живот, в триединую троицу!.. Что вы, мать вашу за ногу!.. Есть тут время стоять!.. Грузи на подводы, что готово. Печатники, за разборку. Ну!..

— Да вот видишь ты... — смущенно сказал за всех передний, чернявый со свинцовым лицом молодой парнишка наборщик.

— Да вот видишь... Григорий Ефимович не велит... Говорит — чем же вы кормиться-то будете, ежели что... Ведь нам — оставаться!

— Григорий Ефимыч... — Не то спросил, не то повторил просто. — Григорий Ефимыч!..

Сжался весь — свернулся пружиной, квадратный подбородок вперед, глаза не глаза — угли. Пальцы в кулак, расправит — опять в кулак, живот ходуном, из ноздрей воздух с шумом и свистом.

— Так он цел еще?.. Выполз? Ладно!

К парнишке:

— Не знаешь, чтоль? Завьялов панам передан, на панне женат... Ну?.. Присужден к смертной казни!.. Ты с ним заодно?

Переглянулся наборщик с ближайшими, промямлил что-то.

С'язвил метранпаж Иванов, отхаркнув свинца.

— Заодно, не заодно... Он этого еще и понять-то не может! А за живот свой бонется... Чем живот, думает, набыю!..

— Для живота старается?.. Не все берем — оставляем для живота. Сойдет полякам и гарт! На складах машины есть. Ну?..

— Слушай-ка, ты!.. — Спокойно, крупно шагнул, повернул Норица за плечо к себе, сказал раздельно:

— Твое хозяйство кончилось!.. Теперь я здесь хозяин. Убирайся сейчас же или... Я тебя сам уберу.

Из черных тусклых жуков-глаз — тусклый ледяной ужас: смертью пахнуло.

Ответил громко, чтобы слышали рабочие:

— Я — хозяин от советской власти. А ты от кого?

Нажал Завьялов сильнее рукой, сквозь зубы:

— Молчи, пададь!..

Освободил неторопливо плечо, подумал с сожалением: «одна только и есть», поднял самозвод, кинулся Завьялов в сторону, охнул воздух коротким вздохом, посыпались кассы блестящим шрифтом под тяжестью грузного тела, разбрызгался Завьяловский мозг между чеканными литерами.

Спрятал наган на старое место, не глядя на труп, сказал, посмеиваясь сощуренными глазами:

— Ну, ребятишки, торопись, торопись, а то как бы подводчики не уехали.

Два раза с'ездил Нориц на станцию. Два раза вернулся. С наганом в руке (без единого заряда) получил два порожних вагона. С наганом в руке

добился прицепки к отсталой санитарной летучке. Бережно укладывали ребята хрупкие машинные части на покрытый соломой вагонный пол.

Третий раз, в последний раз, обернулись подводы — и тут засосало неожиданно у Норица под ложечкой.

Не поехал в третий раз Нориц с подводами на вокзал.

— Погрузят остатки и без меня. А я до отправки управлюсь.

— Ну, прощайте, ребята! — подмигнул остающимся. — Не поминайте лихом, ежели что... Я — без злобы!..

— Счастливо, товарищ Нориц! Не забывайте про нас... Возвращайтесь-ка лучше!

И все.

Знакомыми переулками нырнул Нориц, авдентчик и пьяница, в туманную неизвестность.

До последнего ждали в теплушках Норица не захотевшие оставаться наборщики, до последнего, высовываясь из теплушек, выскивали глазами в путанице станционных построек сутулую прыгающую Норицеву фигуру. И даже, когда дрогнул состав и заговорили колеса свой обычный размеренный сказ, — кричал метранпаж Иванов в раскрытую дверь.

— Нориц!.. Нориц!.. Сюда!..

Так больше и не увидели Норица.

Догнала санлетучка на какой-то станции эшелон редиадата, кукушка перепихнула груженные ма-

пинами вагоны на другой путь и сомкнула их бережно с походным редиэзатовским составом, покачал Броварский, начредиэдат, с сожалением крупной своей головой:

— Пригодилась видно-то пулька.

Так больше и не увидели Норица.

Приехал недавно я в этот город (наш он, советский, хороший город) по каким-то служебным делам. Иду по улице — глазам не верю: Нориц!

— Стой, — кричу, — дружище — ты?..

— Я самый!.. Да тебя-то как сюда принесло? — Обнялись, по старинному обычаю — троекратно в усы.

— Так ты жив, голубчик?..

— А что мне делается!.. Живехонек...

— А мне-то рассказывали: погиб Нориц, пропал в двадцатом году у поляков.

Сощурился — в глазах чертенята спички жгут — щеки рябые в складки.

— Разве такому пропасть?.. От эшелона отстал, только и было. С жолнышами польскими в Заречьи запьянствовал. Листовка у меня ихняя — вроде как пропуск была; они и поверили, дезертир — свой. По-польскому-то мовем. А после у своих ребят зашился... Да что об этом вспоминать. Два года как здесь производством орудую.

— Ну, как же ты? Попржнему все — бутылки считаешь?

Отмахнулся смущенно, глаза в ресницы ушли.

— Какое там!.. Кроме пива — ни-ни.

— Но может быть!.. А как же с «анархией»?..

Совсем переконфузился Нориц, даже — верите ли? — уши краской прошибло.

— Да я, — говорит, — теперь вполне убедился: Ленин-то правильно рассчитал, а я ошибочку маленькую сделал... Квадрата на полтора.

Ах ты, Нориц, ты Нориц!.. Милый ты человек...

Уж попрощались было. Задержал:

— Рекомендателя тут у меня одного нехватает... Так вот, может ты...

Ну как этакому, несуразному, отказать?..

1924

К Л А Д

Каждую осень бабка Лисавета пудами возила в город ягоду. Была у нее такая корзинка приспособленная — заплечница. Наденет ее за спину, влезет в ночь на тормоз в товарном составе — и к утру уж на месте. С собой хлеб, мясо, соль — все, что положено.

А в вечер опять на товарный, а то, если припоздает, и на скорый, и уж дома Лисавета — тащит ягоду скупщику.

Этот год и не чаяла она, что доведется ей ягоду брать. Такой страх, такой переполох стоял — дай бог в живых остаться, не то чтобы что.

Власть была хорошая, сурьезная, адмирал правил — верховный правитель Колчак, а жисть — не доведись и врагу. Пьянство, разврат денной, открытый. Разбой, расстрелы, смертоубийства, — как перед страшным судом.

К новому году прямо светопреставление началось. По городу пальба, из города пальба: кто в кого — ничего не разберешь. Власть эту сбросили, а новой никакой нету. Говорили на базаре, будто есть, а только неправда, никакой власти не было.

Что на улице творилось той порой — не расскажешь. Честный человек днем выйти из дома и то остерегался.

Только через месяц или больше пришла в город Красная армия, и стал он Советским и власть такая же. Потиху сделалось... Народ протрезвел, поуспокоился, жизнь пошла тихая и мирная, прямо божеская.

Одно только: христианская вера в обиде — отец Василий очень недоволен, — да еще вот цены сразу сделались вдвойне против прежнего. Опять же торговать запрещают, которые магазины и лавочки — все позакрылись. Только китайцы на толчке шелком да сигаретками из-под полы поторговывают. А то нет торговли, чтобы как прежде: чтобы купцу почет и покупателю также. Ну, да бабке Лисавете это полбеды: она торговать, можно сказать, не торгует, так когда при случае — вот ягодой осенью. А то все больше стиркой занимается.

Нынче и совсем не думала за ягодой ехать, да дело вышло такое.

Намеднишь встретила бабка приятеля старинного, купца ягодного.

— А-аа, — грит, — бабка Лисавета, сколько лет, сколько зим... Ну, как живешь? Что ягоду не несешь? Покупаю.

Обрадовалась Лисавета знакомому, а про себя подумала: «И впрямь, чего б мне не с'ездить за ягодой-то?». Вслух же ответила:

— Здравствуй, здравствуй, Кузьма Елизарович!.. Да вот все со стиркой занялась, бельишка подвалило красноармейского. А то в субботу думала съездить...

— Ну, езжай, сзжай. Да тогда прямо ко мне и неси. Потому как я дело расширяю... Оно хошь и Советская власть, ну, а только мы своего упустить не согласны... Так-то.

И разошлись.

Поприкончила Лисавета к субботе со стиркой, по дому прибралась. Сыну своему Мишке строго-на-строго заказала:

— Сиди дома, мазурик! Чтоб не смел с ребятами бегать. Вот ужó вернусь, узнаю — задам!..

И поплелась на вокзал.

Народу на вокзале уйма — ни пройти, ни стать. И куда все едут, по каким таким делам — неизвестно.

Солдаты с мешками, комиссары с бумагами, китайцы да японцы разные... а нет прежнего народу, настоящего, благородного, чтобы все как следует и при часах.

Сказывают: из Верхнеудинска состав идет, насквозь пустой, только что проводники. А в Иркутске — с бою вагоны берут, людей под колеса бросают, друг дружке ривальвертами подмахивают... Не езда, а чистая беда, прости ты, господи!

— Куды прешь, колдовка старая, не видишь, что ль? возьми глаза-то в руки!..

— Прости, жадобный, прости старуху слепую... «Ишь их сколько — ноги-то расставили. Что твои оглобли!.. И не подберут, беси!..»

Идет Лисавета, корзинкой толкается... Вслух попросит, про себя выругается, идет, сквозь людей протискивается. Все-то ей ходы и выходы тут известны, только б вот тут как бы нибудь.

— Да что ты, тетка, с... сорвалась, что ль? Прет будто в поле!..

— Ты, бабушка, корзинку взяла б побольшую, а то мала, человека не всодишь...

— У ей там добро в корзинке-то. Гляди, серебро, а нет — спирт...

— Чего спирт... Шелку у ей туды наворочено!...

— Отстаньте, бандисты, что вы к бабуле пристаёте, какой у ей клад, к примеру, могить быть? Пустая корзинка у ей, как есть пустая.

— А ты откуда знаешь?... Внучок сыскался!.. Ты, может, с ней тут заодно спекулянцию разводишь!..

— Да я, братцы, рукой пощупал. По самое дно. Говорю — пустая...

— Гы-ы-ы!.. Мы с разговором, а он с руками!.. Ловкач человек, по носу видать!..

Вдоль Ангары вьется поезд. А вода в Ангаре — что твой лед. Чистая вода, хорошая. Рассейские рассказывают — у них там такое и не видываю, чтоб зеленая и дно видать. Зато холод от нее идет — у-ух какой! Особенно ночью.

Продрогла бабка на тормозе — зуб на зуб не попадет. Ну да и то сказать — осень. Опять же на тормозе какому пригреву быть? Всю душеньку кулдук-то выдует.

Однако, слава тебе господи, вот и Натковская, а там сейчас и Голодава, — поезд всегда остановку делает. Тут бабке и вылезать.

— Ишь, паровик гудит. Никкак Голодава? Она и есть... Ах ты, господи! Корзинку, корзинку-то не забыть!..

Упирается корзинка, не хочет выпустить бабкин рукав, в'елась наплечником в край. А поезд все тише и тише, тише и тише — вот-вот станет.

Стоит бабка на тормозе, трясется. И от холода и от ночной жути... Вот-вот станет... Мать, святая богородица! Да он и не думает. Куда там! Колеса-то все веселей, веселей: осталась бабка Лисавета, осталась... осталась бабка, осталась... Довезем в Кулдук, довезем в Кулдук!..

— Ах ты, чтоб тебе провалиться! — рассердилась бабка, в глазах потемнело, себя не помнит...

...Сидит на земле и руками водит. Броде как без памяти:

— Мать, царица небесная! Неужто спрыгнула?!.

Рябит в глазах у Лисаветы от брусниц. Закроет их, а ягода так и мелькает — да сочная, да красная, да кру-у-упная! Ну, точь в точь, как и не закрывала.

Нагибается бабка, не ленится. Подденет совком снизу, протянет кверху — и полный совок-то: ягоды так и сыплются.

Уж больше половины в корзинке у Лисаветы — почитай, фунтов тридцать пять, а то и все сорок. Можно и отдохнуть. Спину разломило, бок еще с давешнего — как прыгала, должно, зашибла — болит. Солнце горячее жжет, а по горам попробуй-ка, походи в такой-то жаре! Размыла бабка, разопрела, да и ночь без сна — клонит.

И легла бы, да страшно. А вдруг рысь? Или медведь? Тогда как? Задерет и не проснешься. Всяко бывает. Вон об том годе, что богульник два раза цвел (все тогда говорили: не проста это; ан и впрямь — вышла нашим война с японцами!), тоже так: пошла баба в брусницы да и пропала — должно, задрали где-нибудь сонную. Так и не вернулась. Все тогда в одно слово: медведь! А нет — волки. Страшно... Вот посидеть — это другое дело, это можно. Только бы не заснуть.

Опустилась бабка под развесистым кедром. Шарахнулась в сторону по сучьям испуганная белка — и опять тихо-тихо, даже и то услышишь, как играет гармоника в бабкином носу.

Дремлет бабка Лисавета. Текут в голове мысли бесконечной ниткой, разные мысли, — и все важные, все самые главные. Текут, и нет им конца, и клонит от них ко сну усталую голову.

— Вот кабы теперь да Николай! Вот бы житье пошло Лисавете. Есть у нее николаевских пачка.

И сколько! Страшно сказать — тыща! Да не колчаковских, не советских — николаевских! Уж эти не то, что бы которые другие. Уж эти — верные: сказано тыща, значит и есть тыща... Только вот не идут! Нет на них ходу, да и все... Говорили бабке — продай китайцам, продай, дура, хоть что-нибудь выручишь!.. Боится бабка, жметяся.

— А ну как опять царь? По такой ли цене пойдут? Нет, нельзя продавать...

Всю-то жизнь мечтала Лисавета. Сидит это она за прилавочком. А на прилавочке у ней пуговицы, нитки, тесемки, иголки, опять же — конфеты-карамель, пряники, чай да сахар. И все к ней, все к ней. Да не как-нибудь — не «бабка» или там как, а «Елисавета Егоровна, «как ваше драгоценное, как детки, муж? Не найдется ли у вас, Елисавета Егоровна, мыла на пяточок?».

— Как же, как же! У Елисаветы — да чтобы нет!.. Сколько угодно: хоть на гривенник!

— Изволите получить.

— Покорниче вас благодарим!

И как это все хорошо и как это все благородно... Одним словом, жисть!..

Только вот — капиталу, капиталу не было. Муж пьяница — от пьянства и помер, — сапоги людям делал, сам весь век без сапог проходил. Этаким разве накопит?

А замужня жена — не своя голова, Муж босиком и жена также.

Помер — ну, думала бабка — скоплю. Нет, не выходит такого: рубль в руки — два из рук. Так бы видно и помереть пришлось как есть, можно сказать — нищая.

И вдруг — война, а за ней другая, и что случилось, как такое вышло — не расскажешь — посчитала и глазами не поверила: тыща!

Тут бы вот и начать... Да как же начнешь, — когда не идут? Не идут, хоть ты што! А по советским и всего-то им цены — грош...

Ну, да уж бабку не обманешь: она зна-а-ет! Дай только срок, а то пойдут. Пойдут, уж ты там себе как хошь! По полной цене пойдут. Повременить только, обождать еще малость... Не может этого быть, чтобы не пошли. Не какие-нибудь ведь — царские!

А тогда заживет Лисавета.

И почет ей будет ото всех, такой почет, такой почет...

— Свят, свят, свят! Никак стреляют?.. Вскочила бабка, глазами ворочает, руками махает — крестится.

— Иль почудилось? И как же явственно, ровно как под самым ухом...

— Должно быть почудилось. Ну, кому тут стрелять? Белые, те за Байкалом, — значит и красным — там же. Разве промышляет кто... Ну, только не должно этого статься. Дорога — какому тут зверю быть... Нет, не иначе как спросонков почудилось...

— Ах, да что ж это я. Солнышко-то уж за полдень, а в корзинке еще вон-он сколько до верху-то осталось!.. Заторопилась бабка, зашевелилась, идет, нагибается, корзинку перед собой передвигает.

Время уж большое, а надо к вечернему поезду поспеть. Еще как сядешь-то... Хорошо — остановится. А как нет, тогда как?

Хоть пешком до города. И что это такое ему случилось? Раньше всегда, бывало, останавливался, и примера такого не было. А теперь — на тебе, какое дело. Порядки все новые, советские...

Раньше-то все было верное, правильное. И порядок был твердый, правильный. Скажем, ты торгуешь, — значит торгуй. Ты, к примеру, священник — твое дело духовное; должен ты его справлять, чтобы дитё было крещеное, а мужа и жены венчаны, а не то, чтобы вокруг ракитного куста... Или, скажем, если поезд — так ему свой порядок — вот здесь потише, здесь побыстрей, а вот здесь и совсем стань.

А теперь и не разберешь — что к чему!

Пробирается бабка сквозь кустарник, тянется, совком ягоду достает... Ах, и хороша ягода в нынешнем году! Не с корзинкой бы тут, а прямо с возом...

Кустарник колючий, каражистый, цепляется за бабкин плат, дерет по лицу, не дает ходу. И так и этак выбирается бабка, и руками и ногами помо-

гает, да нельзя очень-то — не дай бог, ягоду просыплешь, а нет — плат пополам.

— Ишь ты, гляди — человек! Лежит. И голову на бок. Ровно спит... Только что ж это он на самом на солнышке? На солнышке-то какой же сон? Ему бы в тень...

Стоит бабка на опушке, ладонью от солнца заслонилась, смотрит.

— Нет, не спит. Рукою машет. И кто бы это такой мог быть?

Тянет бабку подойти посмотреть, да боязно — чужой человек, незнакомый, еще изругает.

Хитрит Лисавета. Нагибается, как ни в чем не бывало — ягоду собирает. Будто и нет никого. А сама все ближе, а сама-то все ближе, вот-вот достигнет.

— Стонет... Вроде — больной, а нет — тифозный... С нами святая сила, да он ранетый! — Ишь кровинки сколько на грудях... Ах, ты господи, жалость-то какая!.. И кто ж это его так изувечил?.. Звери, звери! Не люди — звери. Друг у дружки жисть отымают... И у зверей-то такого нет, прости ты, господи!..

Вплотную подошла бабка, смотрит согнувшись, головой качает.

— И ривальверт лежит, отбивался видать... А может это он сам себя так?..

— Грехи!.. Все мы перед господом грешники неизбежные... Жить бы, да жить такому. Молодой, здоровый, красивый... Кабы мне такого мужа — берегла б я его да холила.

Обносился-то как... А видать, хорошая одежа когда-то была. Галикфе, пиджак, вроде как английский, сапоги... Однако до чего человек сапоги сносить может! Сроду и не видала такого, чтобы одни голенища, а ноги босые... Да никак он офицер? Плечики-то, плечики — меченые!.. Офицерик, как есть... И откуда бы ему здесь взяться, больному?

Тяжко дышит раненый, хрипит и клокочет в горле, с каждым вздохом сочится свежая кровь. Тягучими каплями падает на поникшую саранку. Открыл невидящие глаза, подернулся весь, не то вздохнул, не то сказал:

— Пить!..

— Ах ты мой жадобный, ах ты сердешный!.. Сейчас, сейчас я тебе дам... Сейчас! — Засуетилась Лисавета, ищет бутылку, шарит в мешке, в корзинке. А та, словно нарочно, спряталась — не найти нигде.

— И что я с тобой тут делать-то буду... Горюны, горюны, как есть. На станцию бы оповестить... Да куда ж я ее дела, проклятую? — господи, спаси и помилуй, согретишь тут!..

Раненый слабо взмахнул рукой. Яркая искорка загорелась на солнце, загорелась и погасла...

Обомлела вдруг Лисавета, задрожали ноги мелкой дрожью.

— Брельянт!.. Царица небесная, владычица милосливая — брельянт!.. На солнце-то как выиграл!..

— Вот он, господь-то, когда молитву услышал!.. Клад. Одно слово — клад! Бог счастье посылает, а я, глупая, и не понимаю...

Трясется Лисавета, как в лихорадке, рот раскрыла, плат на бок, волосики выбились — не замечает.

Тянется к раненому скрюченными старческими пальцами, ловит за руку, вот-вот схватит...

...Только бы не увидел кто, только бы не увидел кто... И опять открылись невидящие глаза. Прямо в лицо Лисавете. Огромные, воспаленные, тоскующие.

Отпрянула в ужасе Лисавета. Мороз — по коже, и каплями холодного пота намокла рубаха.

— Нет, не могу... Нет, не могу, не могу... Не снять... О-о-ох!..

Отпрянула в ужасе Лисавета. Оцарапало холодом кожу и каплями пота намокла рубаха.

— Не снять... Уйдет клад, уйдет. Господи, владычица, вразуми, научи!.. Сил моих нет...

— Кабы умер. Вот кабы умер! Тогда б сняла. Тогда б сняла!..

Мешком опустилась бабка на камень. Ноги не держат, в голове шумит и в глазах помутнение. Сидит, скрючилась, к раненому спиной обернулась — не глядят глаза.

— Не упущу! Не упущу. Господь дал, господь и вразумил. Не упущу. Хоть до завтра сидеть буду, а не упущу... Долго-то не проживет. Помучается часок, — тогда и сыму. Помрет — и сыму!

...А как не помрет? Может сутки, а нет — двое проваляется. Неужто сидеть все? Ну, и посижу!.. Раз-то в жизни господь премудрость свою великую оказал — и упустить!..

Отдыхалась бабка, отошла — сидит и про брусницы забыла.

— Такие-то, которые в грудь, долго живут, бывает... За прошлым годом сестрин муж вот также об это самое место ранетый был. Почитай месяц лежал, ну только помер — не выходили... Вот была бы посмелей — сняла б да и пошла... Ему-то все равно с кольцом не гулять: и так и этак — люди попользуются... А боюсь. Боюсь с живого-то!.. И знаю, что помрет, а не могу. Пока жив, все будто сам хозяин, самому надо...

— Мучается-то как, болезный... Ишь хрипит, ровно зверь. Тяжко, тяжело помирать-то так... У других — у кого мать, у кого жена, а у кого и сестры с братьями. И смерть благородная, христианская, правильная. А тут на тебе — как сабака в поле... Хоть кому доведись...

...Ничего кажись бы не пожалела, чтобы ему мамашу евою сейчас к месту преставить... Хочешь плат? — на, бери, получай!.. Не гляди, что дырка, он и с дырой-то не меньше, как двести советских на толчке стоит. А мне не жалко: бери — только преставь...

Вот она жисть-то человеческая!.. Ни тебе при жисти, ни тебе при смерти... Чтой-то орет он, однако! Хоть бы потише малость. Услышит еще

кто, не дай бог... Вот и будет тогда клад. Сымай при народе!.. Во всю-то жисть себе не простила б, весь-то век бы помнила... Потому, как была дура, дура и выпшла... Бог, можно сказать, в руки счастье подавал, и то не сумела взять...

— А его запишу за упокой... Скажу отцу Василию: так мол и так, запиши, как есть — «известного мученика, раба божьего офицера, помяни во царствии твоём». Он, может, хотя и самоубивец, ну, только это нам неизвестно... Так что уж запиши, отец Василий, сделай милость, не откажи, господу-то лучше знать. Господь-то он сам разберет, что к чему...

— Хоть бы кончался скорей... И ему мука, да и мне одно горе... Гляди, часов уж шесть, а нет — восемь: ишь солнце где — из-за леса и не видать.

— Не поспеешь к поезду, как есть не поспеешь... Неужто и вправду ночь просидеть? А зверье-то, а волки, и утречка не увидишь!.. Ох ты, господи, Никола чудотворец, владычица наша, всех скорбящих радость, хоть бы помирал уж скорей!..

— Пить просит... Пей не пей, а теперь все равно, — один конец... И где это я бутылку свою девала? Неужли под кедром бросила? Жалость-то какая, такой и бутылки редко где увидишь...

Голова садовая — вот она бутылка-то где!.. Как б-полдень пила, в карман засунула, тут и стоит. А я-то уж испугалась: где это моя бутылка, думаю...

Тени легли на опушке. Свились черными клубами в лесных провалах, притаились за густыми елями и лиственницами. Кажется, шаг ступи — и сейчас тебя окружают тесной толпой, зациплют, затолкают и такое сделают, что до самой смерти потом не забудешь.

Пробирает бабу вечерняя сырость, плохо греет усталая кровь... Кутается старая в платок, ежится, вертится на камне от холода.

— Ох, не поспеешь на поезд, теперь уж как есть не поспеешь!

— Пи-ить...

Не пристало Кузьме Елизаровичу в волнение входить. Не такие ведь лета, да и опытность. Ан тут проняло, уж и не знает, как бы только виду не подать.

— Ты, свет-кума Лисавета Егорьевна, как есть круглая дура.

Ругается Елизарыч, а сам некоса поглядывает: «Ну, как догадается?»

— Дура, как есть дура, потому одно слово баба!.. Думал, и впрямь, может, чего такого покажет, а она вот тебе что — «брельянт»!.. Да таких брельянтов, знаешь ты, сколько в старое время на алтын давали? — Ну, знаешь? Знаешь, я тебя спрашиваю? То-то...

— А вот, что офицерика колчаковского скрyla, за это, ты мне поварь, не поглядят тебя «товарищи» по головице... Как пить дать, припособят..

— А уж там говори тогда — «мертвяк, мертвяк». Они тебе покажут мертвяка!.. Тебе бы, как нашла, сейчас и донести по начальству: так мол и так, в ягодах мол была — наткнулась, а ты вот какое дело: «брельянт»... за стекляшку, можно сказать, Советскую власть продала!.. Приспособят, бабка, приспособят, уж за это приспособят!

— Ты, бабка, лучше слушай моего совету. Выручу тебя, уж так и быть по старинной нашей дружбе. Потому как есть у меня к тебе симпатия... Молчи. Понимаешь? — А-ни-ни... Как воды в рот!.. Время-то пройдет и твоего следу не отыщется. А там, смотришь, и быльем порастет...

— Что? Кольцо? А давай его сюда. Куды тебе с ним. Еще увидит кто, да по кольцу-то дознается — пропадешь!..

— Да что ты, дура, боишься, что ль? Иль я тебе обманщик какой? Тебе б в ножки мне поклониться за совет да за помощь: спасибо мол, Кузьма Елизарович, — научил меня, бабу глупую, а ты словно не в разуме!..

— Ну, то-то же!.. Приходи ужо ввечеру. Отпущу тебе мучки с полпудика... Задешево купил, так уж по нашей дружбе...

1923

ВОЛЫНЯ

Жизнь была большим, патлатым, свирепым псом, и от этого пса можно было оборониться либо куском хлеба, либо палкой.

Егор не любил палки. Палка дразнила пса, увеличивала его упорную собачью злобу. И рано или поздно пес ухитрялся рассчитаться за палку. Поэтому Егор откупался хлебом.

— Настуньк... — говорил он негромко своей жене голосом, в котором не было ни сердца ни сожаленья, — Настуньк... К Лександру Семенычу пойду... Обух просить... Заверни для евоной крали чего... гостинцу...

Обух был Егоровой бесспорной собственностью. Поймал Егора панский об'ездчик Козихин: рубил Егор в панском лесу стривье для одонка, — отвел Козихин Егора к управляющему Александру Семенычу, оставил Александр Семеныч обух у себя.

И знала Настуха: не может быть такой правды, чтобы нельзя было высечь мужику должья. Знала Настуха: не может быть так, чтобы весь разнолистый, замшлый, уходящий в неизвестные дали бор — был для одного коротконового пана Недвец-

кого, а для всех мужиков — тонкие ольшаники и лозняки в выемках и оврагах мужицких голодных полей.

Но шла Настуха в молчаливый амбар, резала крутовосым пожом от куска солонины, вытряхивала из корзинки с пыльным сеном десяток мелких твердоскорлупых яиц, увязывала бережно в холщевый отрез:

— Отдай... Да проси хорошенько... Слышишь?.. Проси.

И голос ее не выражал ничего.

От войны откупился Егор старшим своим, Матвеем.

Присылал сперва Матвей мятые, простроченные неумелым портным бумажные лоскуты, было в этих лоскутах о том, что немца победить никак невозможно, и что начальство строгое, и что Матвей ждет не дождет вернуться домой, и кланяется Матвей «дорогим своим родителям и дорогой своей матушке и еще дорогому брату нашему Игнатию Егорычу», которому было тогда девять лет.

Потом присылать перестал. Настуха плакала, вытирая слезы обтрепанным подолом, — думала Настуха: жениться бы Мотьке на Шумихинской Ксенке, пахать бы Мотьке Егорову подзолицу, скатывать в булыжники крепкое мясо рук... За ничто погиб Мотька, береженный Настухин сын.

А Егор был спокоен. Кошка крысу гоняет не для того, чтобы поносить да пустить. Взяла война у Егора, что ей полагается, и теперь пойдет мимо.

Он долго ходил по своему хутору, посматривал на желтеющий на корню ячмень, с тоской присасывался тусклыми белками к синеве горизонта—нигде ни искринки воды, закорузлый суглинок упирался в подошвы неподатливым коробом, жаворонок охрип от суши и перестал петь, короткохвостый самосей-клевер лежал в истоме.

Егор понял. Опять требуется от него, от Егора, выкуп. Опять надо отдать что-нибудь, что дорого и самому нужно. Ему пришло в голову: пожалуй, не слишком ли много стоит ему это все! Он подошел к Настухе, поливавшей капуста.

— Насть... Где Агнаш?.. Пущай на болотину за конем сходит...

Настасья поправила грязной рукой прилипшие ко лбу волосы. Спрссила, заглядывая в ведро.

— С'ездить куда задумал?..

Егор пожевал губами, и выцветшие его рыжеватые усы вз'ерошились, как жнитво.

— К попу... Отслужит пущай...

— Вози ему, долгогривому!.. — недовольно сказала Настасья.

Егор неопределенно повел плечом, и лицо у него сделалось беспомощным.

— Надо... Хошь не хошь!.. Экая сушь.

Вечером, перед сном, внимательно глядел, шевеля усами, на бога. На того самого бога, который,

засиженный мухами и тараканами, чернел в провале между двумя стенами, и которого Егор разгадал. Бог делал вид, что ничего не знает об этом, и тупо маячил перед Егором, стараясь перехитрить.

Уставший за день Агнаш, зевая так, что делалось больно щекам, ждал, пока matka застелит полати, и от нечего делать ковырял босые, пощипавшиеся от грязи ноги.

— Поди-ка сюды!... — неожиданно сказал Егор, полуобернувшись.

— Говори за мной: «Отче наш, иже еси...»

— Отче наш... ижиси...

— Бей поклон...

Агнашу казалось, что это Егор не взаправду, что это он только так, прикидывается, не понять — для чего. Он послушно кланялся, удерживая зевоту.

Потом сваяло пана Недвецкого, Козихина и Александра Семеныча, лес стал ничей и его можно было валить и возить домой в любом количестве.

Настуха весело считала желтые, смолистые, пахучие, в обхват толщиной комли, громоздившиеся за пуней.

— Амбар перекласть... да баню... срубить!.. Сроду в своей не мылась!

Егор утрюмо драчил по дереву соскальзывающим скоблом.

— Не лясочь!.. Хуже этого нет — ляскотать!..

Подозвав Агнаша, отребавшего стружки, он стал перекладывать вместе с ним грузное, сырое бревно. От многопудовой тяжести у Агнаша дрожали коленки и полотнище изогнутых в коленках пестрединных портьер дробно играло цветами радуги. Настасье было чудно, чего Егор рассердился. Помолчав немного, она сказала с затаенной обидой:

— Чего ж не ляскотать... Рази я что худое?.. Теперь народ разговорчив стал!..

— Дура!..—радостно выругался Егор.—Дура!.. Чужой хлеб—гляди—рот раздерет... Дура!..

Настуха испуганно поджалась. За многие годы она привыкла думать одной с Егором мыслью:

— Лес—он не чужой...—сказала она робко.— Лес—он божий.

— «Божий», «божий»!—передразнил Егор, срывая с натугой сучок.—А ты помолчи!.. Дело само покажет.

Агнаш подумал, что зря Егор навалился на матку. Лениво поворачивая железными граблями в шуршащем корье, подобрался острыми зубьями к самым ногам отца.

— Поберегись...—голос у Агнаша переливался всеми оттенками, подобно губной гармонике.— Дело-то себя коли хошь показало!.. Все что есть—угоды народные!.. И леса, и земли, и рыба... Кого бояться?..

— Ну?..—грозно сорвался Егор, засадив скобель. Он выжидательно уставился на Агнаша.

Агнаш ухмыльнулся одними глазами, но промолчал.

— Еще чего скажешь!.. — точно сожалея, вздохнул Егор и взрезал скоблом сосновую мякоть.

Что лес — божий, Егор сознавался не хуже Настуньки. Чей же он еще может быть? Как бы иначе можно было прогнать пана Недвецкого, выпустить его крытые железом хоромы, поделить по справедливости пашню и сочные заливные луга?..

Но именно потому, что он — божий, должно было быть как-то не так, по-другому: так, как проверено на опыте всей Егоровой жизни. Думалось: вот пришли, взяли — срыву, с силы, дрекольем — не побоялись — напролом, напрямки. А надо бы — помаленьку, с подтиха, — в обход, околицей, стороной. Тогда бы вот было крепко. Тогда бы вот ничего не смог сделать тот загаженный, между стен. Ведь в этом — вся его прослеженная, распутанная Егором хитрость. И из того, что мужики понимали это и все-таки делали по-другому, и сам Егор с ними делал по-другому — должно было быть из этого худо.

Часами передвигаясь за плугом по хутору, раздумывал неотвязно Егор. Моментами подходило: вот, вот додумает все и будет все до конца привычно и просто — только вот перескочить последнюю маленькую зарубочку. Маленькая зарубочка дробилась на десять новых. Они разбрасывались

в разные стороны, как трещины по стеклу, и опять их нужно было нудно и настойчиво собирать.

Девять семей поднялись с дедовских десятин, перебрались за озеро, где было раньше имение. Там, за озером, налилось плотью новое, странное слово «коммуна».

В правлении, куда пришел Егор насчет гужналога, не взяли гостинца, и какой-то, должно быть приезжий, незнакомый парнишка не крича объяснил, почему — нельзя, называл Егора товарищем и гражданином.

В Недвецкого бывших хоромах коммунисты из волости открыли народный дом. Молодежь перестала тятаться по праздничным дням от хутора к хутору в поисках самогона и девок. По вечерам оттуда слышалась музыка, говор, раздольный смех.

Точно сломалась какая-то загородка — вырвались за загородку застоявшиеся молниеносные кони, взыграли кони гривами, сталью копыт, взыграли по пахати, по покосу, по всему, что заказано.

И не боятся кони, что идет хозяин, что приготовил хозяин новую крепкую загородь.

В зимнее короткое воскресенье приехал из уезда товарищ. Был товарищ невысокого росту, безусый — не то старей, не то молодой. В народном доме, куда собрались мужики, говорил товарищ, расхаживая по досчатому полу, не о буржуазии и новых налогах, а о религии и полах.

— Нет бога!.. обман! фикция! и не было никогда!.. Мы должны изжить религиозные предрассудки! Мы должны покончить с паразитом попом! Мы должны строить новую научную жизнь!

Заковыристые слова его были — как лом по камню: жестко царапали, оставляя ноющий досадой шрам.

— Ды — как жа ж нет!.. Таварыш!.. Ды как жа без бога!.. Ведь вот — беда-то!..

Боялись, что отменит власть бога законом, и нельзя будет больше молиться, крестить, венчать сыновей, ставить перед иконами тоненькие восковые свечи.

Только под конец объяснил товарищ, что в Советской России свобода совести, и что каждый может молиться, как ему вздумается, но что лучше всего совсем не молиться, так как это вообще ни к чему и только прибыток попам.

Уходили беспокойные, растревоженные. Разыгрались кони на воле, нет коням удержу — уже не загородку ломают, на самого на хозяина замахиваются. А что как он отмахнется, да — сам?..

Слышно было: час от часу труднее власти, час от часу подходит ближе беляк. Набор за набором забирала власть молодежь в красные ряды.

Егор мысленно подводил итог: так. Правильно. Так и всегда. Так и должно было быть. Его зажавшие под бровями узенькие глаза по-лишьему

пцурились, лоб разгладился и посветлел. Сам — стар. Сын — молод. Никак не могло зацепить его этой войной. Зато было в ней какое-то удовлетворение, какая-то закономерность, которую всю жизнь ощущал Егор и без которой запутался. Тут оправдывались все его расчеты, весь его план жизни, на который ушла сама жизнь.

— Слышь, Настя!.. — говорил он, улыбаясь и суетливо одергивая рубаху.

По тону его Настасья догадалась, что случилось что-то значительное, о чем Егору не терпится рассказать.

— Ну, что еще?..

— Беляки-то, сказывают, под Оршей!..

Несколько секунд Настасья смотрела Егору в лицо. Потом круто повернулась, одним рывком прихватив ухват.

— А тебе радость?.. Медведкин придет — уже тебе баню подрубить!..

Егор почувствовал, как по спине — от шеи по хребту — побежали горошины, мучительно щекоча.

Он еще не успел понять хорошенько смысл Настухиных слов, но всем своим нутром услышал его ужас. Беляки — это значит Недвецкий. Беляки — это значит назад прирезку, расчет за хоромы, за лес, за луга — за все. А какой расчет? Кто скажет — какой расчет?..

Он весь осел, как оседает весной сугроб. Вот оно как оправдывалась его тревога.

— Бать! — сказал, хлопнув дверями, Агнаш. — Я в комсомол записался... Ей богу!.. А?..

Выходило так, что у него, у Егора — своя правда, а у Агнаша — своя. И по Егоровой правде надо было идти Агнашу в комсомол, придется — пойти и в Красную армию, для того, чтобы мог Егор рассчитаться, мог Егор откупиться, для того, чтобы перехитрить хитрого бородача в красном углу. Но Егорова правда была путаная, с бесчисленными петлями, как в оборотах. По этой правде иногда получалось, что белые разобьют советскую власть, и это будет правда, но тогда должен неминуемо пострадать Егор. Оттого Егор свою правду не додумывал, боялся додумывать, убегал от своей правды, как курица от совы.

Агнашева правда была прямая и проще. Он держал в руке палку и ничего не боялся. Временами Егору казалось, что только эта правда и есть.

Но тогда, значит, вся жизнь Егорова — ошибка. И покорность его, и робость, и смерть Матвея, и многие другие тяжелые жертвы, и самый бог, — даже самый бог! — есть ошибка и обман... Не жизнь, а трусливый лисий следок. Егору делалось страшно, и он старался отвлечь чем-нибудь мысль. Шел к соседям, сидел, курил самосейку, разговаривал об Антоновом телке, о крутене, что скрутил у Сергея ерушек, о латышском пьяном пе-

пистом пиве. А потом разговор заходил о налогах, о войне и о советской власти — опять вздымались в Егоровом мозгу сомнения, копошились сомнения, как мухи в навозе, не мог найти Егор в разговорах покой.

Дома Агнаш, как-то сразу ставший большим, надевал сапоги, кафтанишко, Матвееву сбереженную шапку. В последнее время он все стал делать так, будто Егора не было вовсе, будто — не Егор, а стол или пень, о который можно споткнуться, который надо обойти, но с которым разговаривать не придет и в ум.

Чудилось Егору: понимает Агнаш несклепицу беспомощных Егоровых мыслей, понимает силу своей неожиданной, легкой, без труда доставшейся правды, понимает — и не жалеет Егора, не сочувствует, не сердится даже... Так — не замечает, и только.

— Опять туда?... — спрашивал Егор нарочно, чтобы напомнить о себе, о своей воле, через силу скрывая раздражение.

— Туда... — отвечал Агнаш равнодушно и как бы нехотя.

— Опять до свету собакам сено косить?..

— Хошь бы и до свету!.. Не работа ждет...

Настухе представлялось, что Егор обижает Агнаша. Что Егор хочет не пустить Агнаша в клуб. Она думала, что надо вступиться...

— Пуцай идет... Не самогон пить!.. Они там в книжках читают... Пуцай!..

И хоть было ясно, что она ничего не ценит и говорит просто так, раздражение Егора усиливалось еще больше.

— Может и в книжках, а может и еще чего... Откудова знаешь?.. Нам — не докладайт!..

В этой фразе Егор собрал весь яд, на какой был способен. Он смутно надеялся, что Агнеш не выдержит и взорвется россыпью ругани, простой — и желанной в своей простоте.

Агнеш засунул за пазуху листки из какой-то книжки, надвинул шапку на уши.

— Мам!.. Картошку в ямку задвинь... В печи — закиsnить.

Дверь раскрылась, бренча засовами.

Отчужденной враждебностью проводили Егоровы глаза торопливую сыновью спину.

Война кончалась, на всех фронтах победила Красная Советская армия. Власть объявила борьбу разрухе и позволила торговать.

Выбивала жизнь зуб за зубом из тяжелой изъезженной бороны Егоровых мыслей. Надо было набивать новые, а Егор не мог.

Всю неделю ходил на погост, стоял на коленях перед Егорием со змеем. Рядом отбивала поклоны Фекла старушка, Тимофея с Болотников мать. На клиросе вертелись поповские дочки, переглядываясь между возгласами и громко смеясь. Было пусто, тоскливо и холодно. Поп в черном под-

ряснике выходил на амвон и, бесконечно крестясь, возглашал:

Господи, владыко живота моего...

Дух праздности, унынья и празднословия...

Слово было именно то, которое искал Егор. Именно — уныние — оно это самое слово. И чем более ходил в церковь, тем унылее и ничемнее становилось хождение. Договел все-таки. Когда исповедывался, старался поймать поповские глаза: что думает?

Но поп не дался.

— Ладно... не принес — донесешь как-нибудь! Тебя — знаю...

Машинально отчитав положенное, выпустил Егора из-под парчевой покрывки.

Сегодня Настуха наварила яиц, мясного супу — в хате прибралась и перемыла все, даже скамейки... Так же было и год, и два, и десять назад.

— Справляйся, Агнашка... — сказала она, увязывая в узелок яйца — снести узелок к заутрене освятить.

— Справляйся!.. Скоро итти...

Егор внезапно напрягся. Он лежал, разбросавшись на нарах.

«Неуж — пойдет?»...

— Я, мам, в народный дом пойду... Сегодня собрание у нас... Важнее...

Тон был обыкновенный, такой, каким говорят о самых обычных, будничных мелких делах. Но у Настасьи оборвалось сердце:

— Не пойдет... Нипочем!.. Не уговоришь...

Егор вдруг приподнялся на локте. Мыслишка была остренькая, как шильце. От нее шла хитрая, одному Егору известная нить.

— И с волынщиками не пойдешь?..

Он затаился весь, как перед прыжком, даже вздох переменяло. Тут мог быть мостик, исканный мостик в расщелине Егоровых дум.

— Нонче волынщиков не будет!..— широко улыбаясь, сказал Агнаш. — Ребята давень сговаривались не ходить... Чего под окнами трепаться?.. Как нищие!..

Егор выхолощено опустился на подушку. «Гады», подумал он. «Гады»...

Ему вспомнилось, как бывало раньше, в прежние годы, когда жить было хуже, но жизнь была понятней. Егор тогда ходил женихом, у него были лакированные, как две черных бутылки, сапоги и часы, подаренные батькой, — с серебряной цепкой и с надписью: «за отличную стрельбу». У него был тогда десяток друзей, товарищей-однолеток, с которыми хаживал он на гулянки, с которыми без числа порожнил казенную посуду, с которыми любил водиться, но остерегался вступать в ссоры. Разбойной горсткой говорливых весенних сорок перебрасывались тогда они напролет пасхальную ночь по деревенским полям. Рвала тальянская ночной неподвижный воздух, подхватывали мальцы

тленькающие переборы вздохмаченным разнообразным
пестругалных голосов:

И шли, пришли волынщички.
Христос воскрес, сын божий...
Чалом здоров, хозяйюшка,
Христос воскрес, сын божий...

Вспугнутые неожиданным ревом собаки жалобно
выли на цепях и в подворотнях. Их яростный визг
тонул в безудержном грохоте песни.

У нашего хозяина —
Христос воскрес, сын божий, —
Три радости явилось —
Христос воскрес, сын божий.
Первая радость случилась, —
Христос воскрес, сын божий —
Сорок коров телилось, —
Христос воскрес, сын божий...
Вторая радость...

В окнах мелькали огни. Неспящие хозяйки ре-
зали сало, говядину, доставали яйца и ситный.

Третья радость явилась —
Христос воскрес, сын божий, —
Овсы-пшена родился...

От одной хаты шагали к другой, из одной де-
ревню в другую. Всюду стоном стонали собаки,
всюду почёт волынщикам, всюду выносили хозяева
яйца, мясо, а то и водку. Сытые, пьяные делили
на утро добычу. Выспавшись, катали у Филимона
на огороде по копейке крашеные луком яйца.

Всю службу у Егора в упах звенели знакомые напевы, в голове сложились воспоминанья. Народу в церковь набилось много, и от этого все казалось совсем как прежде. Глядя кругом, можно было подумать, что не расштана, незыблема Егорова привычная правда. После заутрени у ограды собрались кучкой. Все старые, пожившие, такие же, как Егор.

— Слышал?.. — спросил Кондрат Восепенок, помахивая шапчонкой. Когда-то Кондрат был первым плясуном и задирой. Теперь седина жадно об'ела бороду.

— Не пойдут, — догадался Дмитруха, — слышал...

— Никогда этак не было!.. В царскую войну и то — хаживали.

— Теперь молодые никого не слушают!.. Что хошь, то и делай!

Емельян Павлыч раньше держал пятьдесят десятин. Землю у него убавили, сын ушел в коммунисты. О молодых не мог говорить без злости.

— Заголить бы да выспасть!.. Мало-то — жизнь уродуют — за бога взялись!

Среди них Егор чувствовал себя увереннее и крепче.

— Старики, — выкрикнул он тоненькой фистулой.

— Старики!.. Пойдем — сами... А? Старики!..

От волненья он прыгал на месте, руки его бестолково бороздили темь.

— Пойдем?.. Молодые — на раз застыдятся!.. А?.. За нами пойдутъ... А?..

Старики дружно молчали.

— Куды уж нам... — сказал неохотно Емельян Павлыч. — Сроду ты что-нибудь выдумаешь!

Емельян не уважал Егора, как не уважал, например, быка, у которого не выросли роги. У него была своя правда, и эта правда была похожа на Агнашеву, как ночь похожа на день.

— А что ж, — протянул Кондрат. — А что ж, ежели и в забыль?.. Застыдились бы!.. Куда хощь!..

Ему тоже вспомнились молодые его сеорокрытые годы, и ночи, и гармошка, и мешки, полные давленных вареных яиц.

— Во-во!.. — подхватил обрадованно Егор. — Застыдятся!.. Истинный бог!.. Я, да ты, да Дмитруха!.. Андрей еще...

— Шутники!.. — сказал Емельян, искривившись насмешкой. — Шутники!.. Ну — я пошел...

Порукавшись со всеми, двинулся, не спеша, на стегу. Потом, точно вспомнив, остановился с оглядкой:

— Ко мне заходи... коли что... воынщики!.. Угощу!..

По хуторам пошли только трое. Кондрат и Дмитруха шагали молча, спотыкаясь по промерзлой грязи, и думали, что вся эта затея не больше как глупость, что ничего из нее не может выйти,

а только завтра засмеют их по всей деревне и нельзя будет показаться на люди.

Егор, угадывая эти их мысли, старался идти быстрее. Он боялся, что они вдруг передумают и тогда все сорвется в самом начале. В том, что получится так, как надо, у него сомнений не появлялось. Может ли быть, чтоб утерпели, чтоб усидели мальцы по хатам, если все равно уж пошли, уж поют, уж волынят волынщики? Разве б он, Егор, в ихних годах усидел?.. И какими-то сложными причудливыми воровскими петлями увязывалась эта предстоящая его неизбежная победа с победой Егоровой правды над правдою Агнаша.

У Тимохиной хаты остановились. Слабо зазвякали на дворе встревоженный Шарик.

Несмело, дребезжащим старческим голоском начал Егор первый запев:

Ишли, пришли волынщички, —

Кондрат приналег баском. Дмитруха едва слышно хрипел под собственный нос. Егору казалось, что поют хорошо, как надо.

Илья пророк во поле пошел —
Христос воскрес, сын божий...

Из хаты к стеклу приникло чье-то лицо. Через тонкую раму было слышно, как кто-то кого-то будил.

— Вставай, слышь!.. Вставай!.. Волынщички!..

Кто-то взвизгнул и залился вдруг хохотом...

— Тимох, а Тимох!.. Это ж — старики!..

Навстреч ему сам Сус Христос, —
Христос воскрес, сын божий...

Стукнула калитка. Показался Тимоха. Он старательно разглядывал в темноте лица поющих.

— Кондратий Иванович!.. Дмитруха!.. И Егор... братки!.. Что ж это вы?..

Видно было, что Тимоха не знает, как ему быть со стариками.

— Вы б в хату зашли!.. Посидели б... Верно!.. Стюдёно.

Егор ожесточенно пел, пропуская забытые куплеты:

Не дашь нам яйца — подохнеть овца...
Христос воскрес, сын божий

Тимоха зычно загоготал.

— Авдотья, — кричал он. — Неси им!.. Неси!.. Что с ими сделаешь!

Авдотья вынесла пяток яиц. Егор положил яйца за пазуху и чинно поблагодарил. От Тимохи пошли к Никитенку. Тимоха долго стоял на крыльце, и его хохот неприятно догонял вольтыщников.

— Поспать бы таперь? — сказал Дмитруха.

— Не худо б, — согласился Кондрат.

Егор стал слабеть. Его уверенность вдруг потускнела. На дело всё выходило совсем не так, как представлялось. Он круто взял к своему хутору.

— А к Никитенку? — спросил Кондрат.

— Поспеем.

Егоров ответ прозвучал как ругань.

Выцукло обозначилась родная крыша. Ночью она была похожа на чужую. С непонятным волнением остановился Егор у окна. Сейчас произойдет что-то большое и важное, что-то такое, от чего, может быть, станет все попрежнему понятно и хорошо. Дмитруха, войдя во вкус еще на Тимохином хуторе, — затянул первым. Егорова фистула плачуще покрыла Дмитруху:

Ишли, пришли волынщики...

Христос воскрёс, сын божий...

Со двора кто-то вышел, поддергивая штаны.

— Батька, — ты что ли?

Егор узнал Агнаша.

— Я... — ответил он нетвердо, оборвав пение.

— Ну и дурак... Людей постыдись!.. Иди в хату.

Агнашевы шаги четко похрустывали по подмерзшему насту.

1926

РАССКАЗ О ПРОСТОМ

В пашки Якушенюк крыл лучше Федосея и устроил ему подвесной.

— Гладко! — сказал с наигранным оживлением Мишка, засовывая незаметно под пояс аккратно свернутую «Крестьянскую». — Покурим теперь!

Емельян занимал разговорами Еську, перекладывавшего в шкапу книги. Заметив, что Мишка управился, он довольно двинул Еську по плечу:

— Хлипкий ты какой!.. С маху — смерть... Ну-ну, ладно!..

Еська досадливо увернулся.

— Вторую? — спросил Якушенюк, с усмешкою глядя на друга.

— Досыть... Пойдем.

— Слабо, значит!.. Ну, досыть так досыть.

Федосей машинально окинул примелькавшуюся избу. Глаза очертили круг — перемахнули через ржавые плакаты, через Еськин шкап, через сосредоточенные лица вождей, остановились там, где и всегда останавливались, — у дверей в тупичке.

Из фабричной трубы по картонному волнистому полю густо валил дым. На него Федосей извал в последний раз всю черную краску. Мужик в зе-

ленной рубахе неестественно стройно косил траву, похожую на тростник.

— Идем, что ль? — Отодвинул Якушенюк шапечный ящик.

— Язык у тебя вострый, — сказал Федосей, поднимаясь с скамейки, — ты поглядывай. Савке и колом огреть — нишчем, таковский.

Якушенюк привычно пожевал губами:

— Цело будет. Мужик свой... Отойдет.

Они вышли на крыльцо, попрощавшись с Еськой. Емельян и Мишка вышли следом за ними. Еська развернул «Правду» и подсел к окну.

У крыльца, не遠далеке, стоял Савка в пестрединных портках и босой. В голове у него кудлатилась солома. Около пристолнился к загороди старший милиционер волости Ефим с Гузнина. Он аккуратно смахивал березовой веткой приставшую к блестящему лаку сапог грязь. Начищенный, подтянутый, отбрасывающий солнце каждым своим ремнем, — Ефим рядом с Савкой казался необъяснимым. Они разговаривали о чем-то, изредка поглядывая на читальню.

— Домой? — сказал Федос, протягивая руку.

Якушенюк подержал ее в своей.

— Стегой сыпану. Скоротаю чего-нибудь.

Федосей вынул кисет и начал не спеша сворачивать папиросу. Спина Якушенки мелькала некоторое время между хатами, потом скрылась на повороте на выгон. Ефим перескочил канаву, бойко пристукнув ногами, и медленно пошел к читальне.

Савка неподвижно глядел ему вслед. Газета выехала у Мишки из-под рубахи и свалилась в грязь.

— Нехорошо... — сказал Федос, укоризненно наклонив голову.

Мишка в сердцах скомкал газету и впятил ее в рукав.

— Не твое это дело!.. Знаешь?.. Взял и взял! Учитель какой сыскался.

— Брось, — толкнул Емельян Мишку в спину. — Пойдем!..

— Куды?.. — пристально, как припаянный, смотрел Мишка на трепещущее Ефимова галифе.

— Куды!.. куды!.. Дурак! По судам потаскаться хошь?..

Мишка сразу очнулся. По его лицу пробежал испуг.

— Ну?..

— Гну!.. Пойдем.

Они ходко зашагали по щербатой дороге. Стараясь не отставать, Мишка раскладывал ноги, насколько позволял перехват штанов.

«Мигануть бы Федосу...» — подумал он, не уверенно поглядывая на Емельяна... — «Чего стоит, как чапля...» Но велух не сказал.

— Наше вам, Федосей Игнатьевич!.. — козырнул Ефим, подходя.

— Мечтать изволите? По случаю хорошей погоды? Об чем же, ежели не секрет?..

Он извинялся, стараясь показать любезность и обращение. На этом он испортил Атольскую

Дуньку, раньше еще Аришку; сама Евдокья Платоновна — барышня, волостная поповна — не прочь была послушать Ефимовы байки. По части обращения — он знал — некому было равняться с ним во всей волости.

— Какой же секрет?.. — простовато улыбнулся Федосей. Папироса плохо горела, и он облизал ее для ровности языком.

— Какой же секрет?.. Вот стою... Домой думаю! День, действительно...

От Ефима густо пахнуло духами. Федосей с удовольствием потянул тонкий запах и закашлялся от махры. «Контрабанда», подумал он, «провонял, что баба»...

— По хозяйству все беспокойство?.. И в праздник и в будни... Заботливость у вас, Федос Игнатьич, большая!..

— Ну уж, заботливость!.. Я — так...

Всплыла сырая омшарина, на которой с утра бродит на вожжах конишка, утаптывает мхи: «не догадается перевязать, старый».

— Праздничный день — погулять!.. Пространством насладиться. Пойдемте, Федос Игнатьевич?.. Ржи посмотрим... Замест моциена!..

«Слов он этих набрался — не сразу поймешь». Итти вместе с Ефимом не хотелось. Точно было в этом что-нибудь нехорошее. Его необычайная любезность вызывала безотчетное недоверие: «чего ему вдруг? Не самогон вместе пили...»

Но и дома сидеть одному — интерес маленький. В какой день случится побродить по межам, посмотреть, как наливаются пружинно ржаные пенки, заглушая суреницу.

— Ладно... — сказал Федос, полусогласно, и тут же пожалел.

Они сошли по отвесному спуску от читальни в поле. Савка догнал их в припрыг и молча пошел рядом.

— Ты куда это?... — удивился Федос.

— А с вами!.. Ыржи смотреть...

Воробьиные зрочки его горели нехорошо, как у кота.

— Ладно... — сказал опять Федос.

Некоторое время шли молча. Окна избежавшей высоко на гору читальни мигали снопами нестерпимо яркого солнца. Впереди дорога петляла в казенный лес.

— Федос Игнатьевич!.. — негромко позвал Ефим. — Что я вам сказать хотел...

«Зря пошел», снова подумал Федос. «Об Якушенке нудить будет... Зря».

— Как вы в газетах распрекрасно пишете. Прямо скажу — интиллигентно у вас выходит...

«У-ух—склизкий... Подкатывается...». Ни одному слову Ефима поверить было нельзя, и надо бы рассердиться, но против воли стало приятно. Федос смущенно повел плечом:

— Университетов кончать не довелось... Как умеем... По малограмотности...

— Об этом с вами согласны...

Голос Ефима вдруг потерял вкрадчивую мягкость и стал сухим и скрипучим.

— Ну, а к чему вы честных партийцев по газетам треплете?.. К чему такой подрыв коммунистической партии?..

Федосей поглядел с недоумением на Ефима. Писал он одну заметку об избаче в уездную газету. Но с тех пор прошло больше полугода, и давно избача убрали, прислав вместо него Еську. Потом понял. Ефим думал о том, что писал Якушенов и что было напечатано на прошлой неделе.

— Никакого подрыва не делаем... — отвечал он, подумавши. — Это — напрасно... А что если контра какая или разбой, то это действительно... Идем против...

От солнца или от волнения Ефиму сделалось жарко. Рванув ворот, открыл жилистую темную шею. Из-под шапки ползли прямыми разрозненными складками линялые волосы.

— Против!.. Вот я тебе и говорю, что против... А против кого?.. У Егора на хуторе кто тогда был?.. Я, думаешь?.. Ну — я!.. А еще кто?.. — Предволисполкома товарищ Вылиток — вот кто!.. Товарищ Озол — страхагент — вот кто!.. Они и в красноармейцев стреляли...

Федосей ошеломленно молчал. Казалось, что это уши небывало уродуют, искажают совсем не такие слова Ефима.

Савка шел, спотыкаясь босыми ногами о камни. Нездоровое любопытство к тому, что еще скажет Ефим, мешало ему смотреть под ноги.

Увлекаясь бешеным гоном собственных мыслей, Ефим точно выплевывал все новые и новые слова, похожие на камни:

— Поймал!.. Ефимку, думал, — поймал!.. Ефимку Крутина под расстрел подвел!.. Не-эт брат!.. Ефимка — не идиёт!.. Ефимку — не расстреляешь!..

Не слушая его, Федосей спешил навести хоть какой-нибудь порядок в переворошенных внезапно мыслях.

Как было у Егора?.. Вечером приехали четыре красноармейца. Подобрались к хутору, по ним стреляли. Двое остались на месте, двое ушли... Егора арестовали, арестовали и Залмана: видели люди, ехал Залман в тот день к Егору на хутор. Сидят теперь. Контрабанды на хуторе не нашли, кто стрелял — неизвестно. Вот кто стрелял?! Ну ловко... А зачем Ефиму рассказывать?.. Ведь Якушенюк всего-то и написал, что у Ефима с Залманом дела были... Следствия испугался, ареста?.. Донести что ли хочет?.. Других закопать, а себя...

На перекрест подребезжала похожая на корыто навозница. Мужик свесил обросшие мохом голые ноги и лениво пошевеливал вожжами. Он долго со вниманием провожал глазами идущих.

— По добротности тебе говорю... Брось!.. Не иди против партии!.. Слышь? Федоска!..

— Чего брось... — голова гудела, как крупорушка.

— Писать брось!.. Отпиши обратно... Слышишь?.. Отпиши: ошибочка, мол, по злоязычию граждан... Слышишь!.. Жить-то как будешь!.. Линейку хотел у Тимохи купить... Твоя, слышь, линейка будет!.. Ну? Федосей!.. Налогу платить не будешь, Вылиток плуг обещался задаром дать!.. Ну?..

У Савки пересохло во рту. Точно и линейка, и плуг, и вся эта сказочная, чудная жизнь — ему, Савке, у которого похилилась на-бок изба, у которого ни пса, ни кобылы и вся худоба — аппарат под обрывом в лесу. Ему хотелось, чтобы Ефим сулил еще, еще, еще — без конца.

— А коли воля, — сказал Ефим сдавленным шопотом, — а коли воля — всего лучше — дуй к нам в кумпанию...

У дороги топорщился крайний мелкорослый еще сосняк, переплетенный можжевельником. Федосей вдруг понял, о чем говорит Ефим. Круто остановившись, он выбросил, задыхаясь от ненависти:

— Поди ты к... матери... Гад!..

И от этого будто бы стало лучше.

— Постой!.. Куда!.. — крикнул Ефим, хватаясь за Федосеев рукав.

— Савка!.. Савка!.. Держи!.. Мать твою!.. Держи!.. Всем — стенка!..

Савка плотно обхватил Федосея пониже пояса. Здоровенные, дюжие мужики — вдвоем они легко вывернули напряженно-сопротивляющееся тело лицом к лесу и, ущемив за руки, повели на тропу к реке.

— Уйти думал!.. — шипел Ефим, тяжело дыша. — Нет, милый!.. Уйти не придется! Не придется уйти!.. Не хотел по доброты, обойдемся по-своейски... С Ефимом Крутиным шутить плохо!.. Плохо, милый, шутить!..

Под ногами билась сухая хвоя, сдвинувшийся почти вплотную худосочный сосняк стебал по лицам иглистыми лапами. Федосей видел, что ведут на Сорочью пасеку, где папоротный ручей впадает в реку. Там было глухо, бездорожно и равномерный рокот реки заглотнул бы человеческий крик. Отчетливо вдруг вспомнился забытый конь. И по сей час, может, ходит неперевязанный, может, и веревка запутлялась, может, и воды не достать. Он сделал беспокойное движение руками. Савка слегка подался.

— Пустите!.. Рехнулись вы, что ль?..

— Пустили!.. Готовь колеса!.. Чтобы ты сейчас на бумагу да в газету: читай народ!.. «Красный гвоздь» — писал... Хитрый!..

«Красный гвоздь» — была новая подпись Якушенка. Несколько секунд Федосей думал. Потом спросил, стянув в улыбку ту сторону лица, которая была к Ефиму.

— Убить надумали?..

— Не разговаривай... — строго, точно шел с арестованным, оборвал Ефим.

— Вашего брата так и надобно, — злобно поддакнул Савка. Оттого, что Федос не захотел своего счастья, а он бы, Савка, отдал бы за него все — в душе саднило чувство, похожее на собачий укус. Это трудно было понять. И потому обида становилась все больше.

Федосей сурово посмотрел на него.

— И ты сюда же... Тебе-то какая надобность?.. Али и ты по шелкам ходишь?..

Савка почувствовал, что больше не вынесет. Его заросшие черным жгутом скуластые щеки налились кровью, глаза стали похожи на шляпки подковных гвоздей.

— Шалка!.. — заорал он остервенело.

— Шалка!.. Чтоб тебе до смерти такие шалка!..

Выпустив Федосееву руку, он забежал наперед, суча кулаками в лицо.

— Баба подохла, Ванька без ног, девки не елши который день!.. От шалков!.. От шалков все... От шалков!..

Федосей невольно прикрыл лицо свободной рукой. Далеко где-то мелькнуло: «Ефиму за одну не удержать...».

— Тиху гад!.. — отпихнул Ефим Савку. — Хошь, чтоб убежал? Держи крепше!..

Здесь в лесу Ефим не думал об обращении.

Савка покорно зажал опять Федосееву руку, но успокоиться не мог:

— Тебе можно!.. — говорил он, дробно семеня голыми пятками.

— У тебя — конь... Коров — эсколько!.. А мне — чем кормиться?.. Ты скажи вот... Грамотный... Чем? Всего и жисти — затворил да выгнал...

— Бедный человек, а и его обидел... — вставил слово Ефим.

— По правилам — ты про него написал — я что должен сделать?.. С обыском притти... Аппарат отобрать... А чего он есть тогда будет?.. Об этом партийным заботы нет.

Последнюю фразу Ефим произнес так, будто никогда в партии не был. Федосей не удивился. Внезапно ясно представил себе, что сейчас будет, и тело покрылось испариной. Жаркое недавно солнце — цеплялось теперь за дальние верхушки деревьев и как бы уменьшилось. Стежка пошла вниз, и сосняк сменился кружевами берез и матовостью осинника. Из куставняга под ноги выбивалась сырая болотная трава, в зарослях олешняка и низкорослой малины таилась угрюмая Иван-да-Марья. Невозможно было поверить, что все это в последний и что не придется услышать еще раз этого вот дрозда, что сварливо и негодующе скрежещет над головами. Федосей следил за его зигзагами. Потом перевел глаза на Ефима. Можно было подумать, что перед ним никого нет.

— Кабы я сам не понимал!.. — волновался настойчиво Савка.

— Кабы бы я... Конечно, Совету от нашей — вред!.. Совету свою надо продать... А рази я со зла?.. Рази я тормаз какой?.. Пропади оно пропадом!.. Рази б я стал, коли б не это...

Федосей не слышал. В голове карежились, как сырая береста в печи, — грузные, виловатые мысли: «Сказать?.. Не я мол... Пусти!.. Не я писал»...

Навстречу этой выпячивалась другая, давила надежду в корне, как уголек сапогом: «Без пользы... Все одно не поверит. А и поверит — допытывать про других станет... Без пользы...»

Откуда-то, точно подбросил кто, — выпала еще одна. От нее забилося вдруг тело мелкой, радостной знобью. Поспешно отвел глаза от Ефима; были они теперь — блудливо тревожны и мельтешились в безнадобной суете: «Якушенок, де... Он... При мне писал...»

— Отпусти... — сказал Федос, глухо и глядя в землю.

— Чудак!.. — скривил Ефим в насмешке тонкие губы.

Сердце сжало чугунной тоской. «Нельзя это... Нельзя про Якушенка... Мать честная, нельзя!». Язык отяжелел и припух к гортани. С тупым отчаянием взглянул на кустаняг. В его подножии мерцали сумерки.

— Пусти! — выкрикнул Федос, рванувшись вперед неожиданно для себя.

Савка поскользнулся на выветрившемся ко-ровьем помете и, не удержавшись, упал. Цепляясь

левой рукой за кобуру, правой старался Ефим не пустить упругое, упрямое тело. Не оглядываясь, Федосей ударил ногой назад себя. Ефим матерно выругался.

— Не уйдешь!.. Все едино!..

Кустаняг хлестал по лицу, выискивая глаза. Сзади сухо треснул наган под-ряд два раза. Густой орешняковый сплюшняк раздался под телом, открыв дорогу.

Федосей бежал, отпихиваясь локтями. Длинный, склонившийся под собственной тяжестью, сук остро проехал по голове и захватил шапку.

— Уйду!.. Не догоню!.. Только б до хуторов!.. Уйду!..

За спиною хрустели сучья и слышались голоса, но это было не страшно. От небывалой, чудовищной радости хотелось смеяться, кричать, издеваться над бессилием Ефима.

— Как я его!.. Ногой... Как жеребец!.. Во-век не забудет!..

Представил себе, как больно теперь Ефиму. Почувствовал мутную боль в своей ноге пониже колена.

— Ишь как... Себя не пожалел!.. Повихнул должно быть.

На бегу поймал глазами сапог. От ушей медленно сползла краска. Боль в ноге сразу стала непереносной. Ключки крови запекались на голенище, тускло играя.

— Подстрелил!..

Некоторое время бежал, стараясь не хромать. Радость сторела и сменилась упорной злобой. Потом заковылял, припадая на больную ногу, и шаг стал резке. Золотисто-зеленый орешник, перебиваясь темными пятнами об'еденной червями ольхи, — тянулся бесконечно. От колена боль перебросилась выше и ныла уже вся нога. Ступня в сапоге онемела и ее точно не было вовсе. Федосей остановился, прислушиваясь. Щскача по широкому шелку листьев, сорвалась в испуге и улетела стремительно мелкая птица. С той стороны, где заросль сливалась сплошной стеной и где, думалось, — только перебежать — тканая лентами вспашек, дорог, хуторов, дружелюбная пестрядь полей, с той стороны слышалось приглушенное мерное ворчанье, как будто залег за кустами и спит громадный невиданный зверь.

— Вот те и хутора... — сказал во весь голос Федосей. Звук потерялся — беспомощный и жалкий.

Он устало опустил на кучу сухого хвороста. Невдалеке — виднелось еще несколько. Федосей узнал место. Дальше начиналась зыбель, где пропадают из года в год мужицкие коровы и овцы. За кустами под обрывом бьется на перекатах река. Вгорячах побежал не к дому и теперь надо идти назад без малого верст пять.

— И как это меня угораздило!.. Ладно бы — в чужом месте, а то в своем поле...

От потери крови во всем теле ощущалась томительная слабость. Воздух перед глазами слегка

дрожал. Сидеть было приятно, и не хотелось думать о том, что нужно встать и идти. Красноватый луч солнца пробивался сквозь сонную гущеру и в его пятне толклась паутинковая хрупкая стайка болотных комаров. Федосею хотелось есть. Пошарив рукой в кармане — нащупал кисет. Но спичек не нашлось. Должно быть, когда бежал, как-нибудь вывалил. Огорченно вытрусил табак из самокрутки обратно в кисет. Нога ныла как будто бы меньше. Он решительно встал, придерживаясь за хворост. Осторожно ступил на пробитую ногу и с трудом удержал стон. Боль была такая, будто в икре засела стекляшка. Подпрыгнув на здоровой — вернулся на старое место.

— Зря садился... Ити надо было... Делай теперь что хошь...

Недалеко что-то хряснуло. Еще несколько птиц сорвались и улетели. Показалось... Показалось ли?.. Сказал кто-то непонятное. Сердце зашло в тревоге: «Никак идет кто?»... Он «вслушивался, прихватив дыхание. Спокойно и четко шуршала река. Теперь ясно можно было понять, что пробирается кто-то сквозь чащу — оттуда, откуда прибежал Федосей. Треск то затихал, то возобновлялся, всякий раз приближаясь.

«Сюда... Неуж Ефим?» Догадка прошла по телу холодным потом. Сознание подекало успокоительное: «Может самогонщики кто: в заворе заделано — варить идут...»

Стараясь не думать и не ушибить больную ногу, Федосей опустился на землю, цепляясь штанами за хворост. На четвереньках ополз кучу на полу-круг. Из-за кустов явственно доносились негромкий озабоченный говор. Федосей приподнял слежавшийся край давнего хвороста и, передергиваясь от боли, втиснул тулово под его навес. Простреленная нога сиротливо и странно торчала между оттопырившимися прутьями. Здесь Федосей чувствовал себя покойней: «погляжу — кто: тогда... мало ль, напорешься...»

Не то сквозь сплошную сетку валежника труднее слышать, не то взяли идущие куда в сторону, но только пропали вдруг недавние шорохи и всплески человеческих голосов и жутко застыла ничем нерушимая тишина.

Из глубины кучи тянуло теплой тягучей прелью. По тоненькому пруту карабкался черно-желтый шершавый червяк, мотая по сторонам крохотной головкой.

— Все кусты кровью обхлестал... Куда ему деться. Здесь он...

Спокойный и деловитый голос взорвался как выстрел. В ушах зазвучала тончайшая музыка. Червяк вырос в огромный живой ком шерсти. «Ефим... По следу идет...Ефим».

Рванные обрывки мыслей забурлили внезапным лихорадочным кипятком: «добить хочет... Пропал я теперь. Никуда мне теперь...»

Почему-то вспомнился Якушенок. Его накинутый на плечи пиджак, походка в развалку, уверенная умная ласка в простых словах.

— За тебя погибаю, друг... — с горечью подумал Федос. — За тебя...

Точно должен был знать Якушенок это и спешить, и выручать Федосея от неизбежной смерти. И что не знал, и что не спешил — ложилось на сердце невыносимой изменой.

— Видишь, — неожиданно близко сказал Ефим. — Видишь?... Кровь...

Кто-то — должно быть Савка — громоздло откашлялся и плюнул.

— Ефим Захарьевич...

— Ну?..

— Пойдем... Ну его... Видно бог не пустил!.. Человек-то ведь нашинский!.. Ефим Захарьевич...

— Дурак ты, я вижу, братец, — неторопливо ответил Ефим. — За то и без штанов ходишь... Как нам уйти, когда он теперь чего и не знал — знает?..

Потом опять стало тихо. Федосей чуть-чуть шевельнул раненой ногой. Она одервенела и была как чужая. Когда-то виданный светловолосый человек склонился над Федосеем и внушительно покивал головой: «Селькоры — помощники партии, и она их в обиду не даст». Это на с'езде... Селькоры. Ячейка. Непаревязанный конь... Теперь это было далеким и как бы ненастоящим.

— Здесь — сидел... — совсем рядом прошелостел хриплый придушенный шопот.

Федосею чудилось, что он слышит чье-то тягостное сдерживаемое дыхание. Червяк нащупал Федосееву руку и перекинулся с ветки на согнутый палец. То, что сейчас найдут и откроют жадное Федосеево тело, теперь почему-то казалось неважным.

— Вот он!.. Савка!.. Хватай!.. Эвон!..

Грубый толчок отдался в голове одуряющей болью. Рубаха задралась и поволокла за собой сучья.

— Сволочь!.. — Ефим смаху пхнул Федосея носком между ног.

— Спрятался... Гадюка!.. Не увидят, мол!.. А ногу позабыл.

— Отпусти ты его!.. — взмолился вдруг нелепо гундося Савка. — Отпусти, Захарьевич... Пусть бы шел.

— И ты хочешь?.. — свистнул сквозь сжатые зубы Ефим. — Смотри!..

И в том, что он не крикнул, не выругался, была особая страшная сила.

— А красный гвоздь — это не я... — глухо сказал Федос, стараясь приподняться. Давно придуманные невысказанные слова вырывались сами, и Федосей не уловил их смысла.

— Как не ты?.. — от неожиданности Ефим растерялся.

— Как не ты?..

Это отвечало его собственным смутным сомнениям: «Откуда у Федосея такая прыть на языке?..» — Но Якушенок женат на родной Ефимовой сестре, а еще писать некому. К тому же Ефим перехватил у Федосея Тимохины кованные железом дроги.

— Рассказывай!.. — протянул он нараспев, нажимая курок. — Рассказывай... Только нам твои побаски и слушать!..

Одинокó щелкнул наган. Савка присел поспешно под куст. Поискав головой, червяк перебрался на Федосеево ухо.

Толкнувшись негромко в дверь, Мишка думал, что Еська может уж спит и не захочет вставать.

— Слушай, Еся, — сказал он просительно и покорно. — Федосей не у тебя, Еся?

— Нету, — отвечал Еська, недоверчиво глядя и стараясь понять, какое сейчас озорство выкинет Мишка.

— И дома нету... — подумал вслух Мишка в неиз'яснимой тоске. — Весь день нету...

— Придет... — спокойно ответил Еська, прикрывая дверь. — Сидит у кого-нибудь.

— Постой, погоди!... — встревожился Мишка, вдвигая в щелку ступню.

— Газетку я у тебя давень взял... Почитать взял... Возьми, положи на место, Еся, газетку...

О Ш И Б К А

У людей после получки — душа играет. А Тарасову, метранпажу, и получка клином.

Развязывает мокрую гранку, разматывает шнур — на выпускающего хоть бы взгляд — нет и не было никакого выпускающего, в природе не существует.

У выпускающего очки закрепи: посмотрит на Тарасова — у самого лицо в горестные складки: видимое дело — не в себе человек. Посочувствовать бы ему — что и как, а вместо того утруждать приходится:

— Заголовочек перебрать надо!.. Древним.

— Вот тут вот линейчку бы... Да разверстать на две колонки...

Это и кому хочешь перетерпеть трудно. А ведь тут в явном нетерпении человек!

Шевелит Тарасов сидящими усами, на линейчку поплюет, Ваське ученику грозно:

— Полкватратных... Слышишь?..

Вприбешку Васька волокет материал: бабашки, полубабашки, шпоны.

Да шило еще, чорт побери, куда только девается шило?... Весь вечер всего и дела Тарасову, что

шило искать: шарит-шарит между гранок, а оно вот где — воткнуто у самого носа.

Обкладывает бабашками полосу Тарасов, молчит. Поглядывает с бочку на метранпажа выпускающий Шибалов — нужно бы сказать: выкинь разрядку, поставим лозунг. Молчит: ну его и лозунг тот, пусть уж разрядка!..

Ковыряется в кассе Васютка, шевелит губами, перебирает на «древний» заголовок, внимательно вклеивает в слово «вперед» вместо «п» «т» — автору завтра на радость, вклеивает, молчит — только и разговору, что в соседнем отделении машина, не спеша, погрохатывает, заканчивает срочный заказ.

Почесал осторожно Тарасов измазанным пальцем лысое темя, потянулся к шпагату в клубке, сказал неожиданно:

— Соколов, больше некому!..

И разорвал со злостью шпагат.

Не расслышал Шибалов, переспросил:

— Как больше некуда?..

Ухмыльнулся в верстатку Василий, поставил для крепости в слове «товарищ» два «щ» рядышком, вытер намокший нос:

— Не любишь, старый бес!..

Ничего не сказал Тарасов Шибалову, будто не слышал. Взял спускальную доску, притиснул к столу животом.

— Телеграммы, что ли? На второй поставим, если тут некуда. Не в первый раз.

«Вот ещё прилип под руку!.. марашка!.. Не до телеграмм тут».

Поползла скрежеща по столу связанная газетная полоса, вот уж край на доске, вот уж половина, подпрыгивают буквы, не выскакивают, плотно приправлены, ещё нажим, ещё... Треснула вдруг шрифтовая гладь, скользнула доска по столу, погнулся шрифт — ах ты чтоб тебя!.. Обвисла середка к полу тяжелым брюхом, мгновение — не середка — дыра, веселыми ручейками разбрызгались литеры, шпоны, бабашки по грязному полу, на доске вместо полосы — нестройные грядки сыпи.

Охнул от сердца Шибалов, втиснул зачем-то в карман кучу бумажных обрезков.

— Что ж теперь делать?!

Осмотрелся недоумело Тарасов, толкнулся в один конец, в другой, развел руками:

— Делать теперь нечего... Первая полоса!.. Без первой страницы газеты не выпустишь.

Сказал то ли с удивлением, то ли даже с удовольствием:

— Двадцать лет на этом деле стою... а в первый раз полосу на пол спустил!.. Наверно меня чорт сегодня толкнул под руку!..

Сгреб шалку и вышел вон.

Ну, не было ещё у Тарасова другого такого дня!

Подкручивает Шолемка рукоятку, подкладывает новые пластинки — скрипит, перебиваясь слезами, беструбыш с бесценной шолкой граммофон:

О, дай мне забвенье, родна-я...

В открытую дверь клубами пар, навстречу теплый запах сыра, колбасы, воблы, Шолемкиного отменного пива. Доволен Шолемка: всегда бы так торговать, а не по субботам только... который это ящик?..

Увидал Тарасова Демидов, печатник.

— Ивану Матвейчу!.. Что скоро сверстал?.. Садись с нами... Шолемка! Гони еще пару!..

Всего-то и столиков у Шолемки пять-шесть. А язык высунул, бегая между ними: облепили люди столики, уткнулись носами, кепками, черным подкрашенным котиком.

— Эй, Шолемка!.. воблы!

— Еще пару... Да живо!

Опустился Тарасов на стул. Подвинулся на угол Степанов, наборщик:

— Догоняй, Матвейч... Видишь, мы как?.. Головой на пустые бутылки: три, четыре, шесть...

— Газету спустил?.. — деловито осведомился Демидов. Двигает Тарасов белесыми жесткими усами, не обращает внимания, глотает привычно солоноватую, пенную, пощипывающую влагу.

— Ну, и пиво. На редкость!

— Пивцо — лучше нет!..

Режет Шолемка длинным ножом пластинками сыр, раскупоривает запотевшие бутылки, шевелит от торопливости бритым своим синеватым подбородком, от людской речи — висит в пивной ровный, дегромкий, слитный гуд, потолок, как в ба-

не — в облаках пара и дыма, тускло тлеет в облаках красноватая лампочка, на полу под ногами — талая вода и грязные, налитанные водою, деревянные опилки.

Поглядывают на Шолемку, на стены, на опилки — госстроевские, типографские, кожевенных мастерских, с бледными заросшими лицами, с провалами у глаз и на щеках — Шолемкины гости: принесли Шолемке субботнюю получку. Не видят госстроевские, типографские, кожевенных мастерских серой плесени стен, захарканых, грязных полов, не чувствует в'едливой вони сырого тяжелого воздуха. Переливается бурая жидкость в жадные рты, добирается до голов — колеблются головы в приятной истоме, легки руки и ноги, свободно и просто находятся особенные значительные слова:

— Что мне завком!.. Я сам себе завком!.. Вот что...

Не смрадный погреб — бескрайный дом, не плесень на стенах — драгоценный прекрасный узор, не Шолемка, спекулянт и ловкач, — милый, добрый, приветливый друг.

— Что же, Тарасов?.. Газету-то как?.. Спустил?.. — подвыпил Демидов, упорен подвыпивши, наддувает щербатые щеки. Отставил Тарасов стакан, нахмурил морщинами затканый лоб, уколол Демидова злыми, белыми от злости глазами:

— Спустил... Чего лезешь?.. Собаке под хвост!.. На пол спустил!.. Отстань.

— Как?..

Пригнулся Демидов, с места привстал, из-под усов черные обломки — зубы.

— Как?..

Защекотал мелкой дробью Степанов, рукой за бутылку:

— Ну и шутник, Матвейч!.. Любитель загнать.

Выругался Тарасов трудно и пакостно, вырвал бутылку, пролил пиво на брюки и стол:

— Вот так!.. Не выйдет сегодня газета!..

Покачал недоверчиво головой Демидов: не знает — шутит, в серьез? Сказал неопределенно:

— Бывает...

* *

Не удержаться Тарасову. Вертится язык, склеивает буквы в слова, выбрасывает слова наружу.

— Двадцать лет!.. Игнатьевич... Ты ж меня знаешь!.. Я да ты... Мы, Игнатьич... Двадцать лет!.. Двадцать лет!.. Литеру просыплешь так и ту... А то — полуса!..

Переполнилась душа до боли обидой, казалось, что кто-то чужой и злобный сговорился со всеми, и все согласились и рады — унижить, осрамить его, Тарасова, — выставить посмешищем перед всей типографией: смотрите — вот он Тарасов!.. Вы думаете — работник?.. что?.. метранпаж?.. Вот он какой метранпаж!.. Старый пес он, Тарасов!.. Старого прижима хочет!.. Гнать его такого, Тарасова!..

— Ну, погодите ж!.. Я покажу, как меня гнать... Узнаете метранпажа Тарасова!.. Сосунки...

Покачнулись бутылки на столике, разбился упавший стакан. Трусливой лисицей — Шолемка: не допустит до скандала.

— Тише, Матвеевич!.. Не шуми!.. За стаканы ведь деньги платить... не огорчайся...

Урезонивает Демидов Тарасова, за руки, за пальто пригибает к сидению:

— Со всяким может... Чего в самом деле?..

Непокорен Тарасов. Не согласен сидеть. Подошла краем обида.

— Пусти... Демидка!.. Пусти!.. Слышишь?.. Я тебя знаю!.. Ты без зубов, а туда ж!.. Небось газету читал, все свои кишки растрес... «Ишь, как Тарасова протащили!»... Ну, я вас растрясую!.. Я вам кишки повыверну!..

— Да кто над тобою смеется?.. Сиди! Обалдел...

Подкатился Шолемка на ножках-колесиках, изгибается:

— Вам бы, товарищи, по погоде пройтись... Воздух сегодня хороший. Прикажете с вас получить?..

Опьянела я невольно
Закружилась голова...

Цепляется Тарасов за столики, за ноги, за двери, каждый вершок уступает с бою, каждый шаг — вырывают насильно.

— Не пойду!.. Пусти!.. Посажу!.. Демидка!..

— Пойдем, Тарасов, пойдем!.. Не дури...

Сердцу грустно, сердцу больно,
Отчего я так...

Захлопнулась звонкая дверь, визжит примятый снег. Мороз, покрываются белым налетом усы, ресницы, барашковые воротники. Обессилел Тарасов на холоде, послушно шагает между Степановым и Демидкой. Не поймет — откуда, куда, зачем?

— Мальчишка!.. Маткину цыцку сосать! Щелкопер!..

— Верно, Матвейч... я и то посчитал...

— Ну, послал я его!.. Ну, сходи, говорю... Я ж тебе не со зла?.. Что же в том?.. Нас не так бывало гоняли... Не папирасы носили — водку, закуску!.. Бывало только и дела... Ну — и сходи!.. Ну и уважь старика... а он мне: старый режим!.. сам сходишь... я здесь не за тем!..

— Поторячился, Матвейч... За ухо зря было!.. Не те теперь времена... Комсомольцы.

Поскользнулся Степанов на ледяном перекате:

— За ухо, товарищ, теперь — не балуй!..

С'ехал левой калошей на мостовую, упал, взмахнув рукавом, в колючий снег, потянул за собой Тарасова.

«Производственная организация при советской власти — интенсификация и тейлоризация... но это не есть основа. Основа — машинизация... Товарищи!.. наша задача — подъем промышленности... Как сказал товарищ Ленин: профсоюзы — школы коммунизма... Поэтому, товарищи, — я кончаю... Да здравствует революция во всем мире!..»

После доклада — «Герой коммуны», после спектакля — пляши хоть до трех часов. Воскресенье — не вставать.

Подымается, пошатывается по лестнице Тарасов с приятелями. Спины и ноги в снегу. Снуют по лестнице взад и вперед наборщики, печатники, переплетчики всех трех городских типографий — клуб полиграфсоюза.

— Василию Игнатьевичу!.. И Тарасов!.. Здорово!.. Где вас валяло?.. Весь снег с собой принесли.

Пыхтят на антресолях медные кренделя, выдавливаются из кренделей заунывные звуки: свой оркестр, — басы, альты, барабан. Шаркают размеренно туфли и сапоги, сплелись липкими потными парами люди: вон Козловский тягает фальцовщицу Ньюшку, вон корректор Устинов, выставив костлявые локти, бережно проталкивает свою даму между колеблющимися задами танцоров. Вон Симка Шустовский прижал к себе Мурку рыжуху — все около ней вьется, гляди, не женился б парень!

Притиснула молодежь нетанцующих к стенке. Прислонил Тарасов к стенке усталую спину, сердится на ребят — толкаются черти, трутся, человеку постоять не дадут... плясуны!..

А сердце — рыхлая губка. А сердце — в непомятой тоске. «И мы когда-то плясали. Так ли еще плясали!.. Теперь вот и танцев таких больше нет...»

Ну и что ж, что танцев нет? Что Тарасову, метранпажу, Тарасову, у которого выводок ребятишек и большая старуха, что ему танцы? Не сплясать ли старый задумал?... Хех-хе...

Смеется Тарасов, а трубы стонут металлом, заливают стонами клубные комнаты — не верят трубы тарасовскому смеху.

Помялись, поглядели, невесел что-то и Демидов. Зато Степанов ходит козырем — с тем с другим поздоровается: «Погодите товарищ, я сейчас» — зашпился куда-то, должно быть в буфет ушел.

— Пойдем что ли, дружище?.. Видать нам, старикам, тут не при чем...

Вдохнул Демидов, Тарасова под руку:

— На койку да спать...

Сорвалось что-то на хорах, тряхнул длинный Жбанков черненькой палочкой в последний — крутнулись с размаху лишнего запоздавшие пары, — раз, два, три — конец.

— Пойдем, пойдем, товарищ!.. Женка зажда-лась... В каком кабаке, думает, Ваня получку проводит.

Пробираются к выходу, протискиваются между рядов — мелькают знакомые лица, в ушах говор, веселье, смех. Наткнулись на чью-то спину — оглянулся — стерлась улыбка с лица — строгость в глазах, недовольство — предфабкома Кудрявцев.

— Что вы толкаетесь тут?.. Все ты, Тарасов!.. Не можешь без пьянки...

— Тебя не спросил!.. Проходи!..

Скоро и дверь. Реже народ, легче шагать, сейчас выйдут Тарасов с Демидовым в ночь, проглотит их ночь, разведет в разные стороны по привычным несвежим кроватям, — будет каждый сам по себе, будут ворочаться на твердых скрипящих досках, и никому нет и дела — куда ушли, куда делись двое ворчливых и сумрачных стариков.

На выходе уже зацепился Тарасов за ручку дверей стареньким ветхим сукном ватного своего пальто, дернулся — выхватила ручка огромный клоч, обвисло сукно от кармана собачьим ухом, открыло желтое мясо.

— Товарищу Тарасову!.. Правда ли полосу рассыпал?.. Газеты не буде... Все говорят?

Горящее любопытством, смеющееся лицо, веснучатый нос, черные ненавистные глаза-бабашки: Соколов, комсомолец и ученик.

Глянул Тарасов на рваный карман, обозначилось четко в кармане:

«Эти замашки надо оставить... Ученики не для того, чтобы гонять на посылках и за уши драг. А если метранпаж Тарасов придерживается за старый режим, то надо его поучить политграмоте. Позор метранпажу Тарасову...

Стенкор Заковыка».

Заметка, карман, полоса...

— Ах ты, сволочь слюнявая!.. Надеваться?.. Надменшки?.. Думаешь — с грязью смешал?.. Я те загну заковыку!..

Плотно легла на щеку ладонь.

Повихнулся на бок Соколов, комсомолец.

Растерялся Демидов, уставился глупо в уходящую спину Тарасова.

— Ну и загнул!.. Не сейчас — разогнешь...

Заступил метранпажем Степанов. Не вышел Тарасов на работу: было в типографии — и разговору, и смеху на целую неделю.

— Какую манеру взял!.. То за ухо, то по уху... Да при каких царях он живет?..

— Из союза его исключить!..

— Был когда-то работник, а не теперь... Сверстал да на пол!..

Суров Демидов с людьми, когда правит машиной. Только ей — все внимание, только ей — нежность и любовь.

— Не треплись... Пустозвоны!.. «Сверстал да на пол...» Ты сверстай!..

Пощупал привод, нагнулся к мотору, — стучит что-то сегодня.

— Старый ведь... Это надо понять... Смазать его, прочистить... а не тяп да ляп!.. На тяп да ляп и молодого испортишь... Тебя б — исключить!..

Не поймешь, о чем разговор — о моторе ли, о Тарасове ли.

На вторую неделю явился Тарасов в наборную — осунулся, побледнел, в глаза не смотрит. Стал на книжном. Подгоняет колонцифры в коопера-

тивный отчет. Спешит — не поспевает Васька-подручный, рассыпает материалы, литеры, цифры.

— А ну, как и мне по шее надаст?..

Но ничего... не ругается Тарасов, не кричит, не торопит, не добирается до Васькиной шеи.

Полил водою страницу, шпагатом связал, понес на станок — на бумаге оттиснуть. Крикнул кто-то в спину:

— Эй, не рассыпь!.. — затхнулся в смешке.

— Ну теперь, ребята, держись!..

Даже не ворохнулся. Точно бы не ему. Вернулся назад, взялся за другую страницу.

Лезет проходами между реалов Клячко — РКК. Руки — в карманы, в зубах — папироска, в озабоченности лицо: «Как бы это так, чтобы не очень». Тронул Тарасова за рукав:

— Товарищ Тарасов!..

Забыли ребята верстатки, вытащил Васька «древнего» ящик, да там и пристыл, показал из машинного Демидов встревоженный лоб: «о чем речь?».

— Товарищ Тарасов... По постановлению Рекаки... Одним словом. Иди домой!.. До суда с работы снимаем...

И видели все: пожелтело сперва лицо у Тарасова, как лежалая газетная бумага, потом, не торопясь, стало чернеть: не живой человек — покойник, руки обвисли как рванный привод, прыгают быстро и коротко серые кончики пальцев.

Глянул Клячко РКК, парাপнуло что-то в середине, заторопился вдруг, заспешил:

— Да ты не бойся... Чудак!.. Вот чудак!.. Показательный тебе суд... Свой!.. Чудак... не настоящий!..

Повернулся итти.

— Так ты, Тарасов, того... А вы что здесь усталились?.. Вам-то тут что?.. Только бы лодыря гнать... — Норму вон спустили как, срам!..

И запагал сердито к себе в переплетную.

Молчали рабочие за реалами. Молчал Тарасов, стоял — не двигался, все так же дрожали грязные пальцы. Потом медленно отодвинул в угол недоверстанные полосы, аккуратно перевязал их веревкою, медленно насунул пальтишко с зашитым карманом, пошатываясь, едва поднимая грузные ноги, пошел к выходу — маленький, сгорбленный, седой.

— Шапку забыли, дяденька!..

Крикнул вслед Васька, назвал небывало Тарасова: дяденькой и на вы. Сорвал торопливо с гвоздя тертый забытый барашек, побежал, толкаясь, вдогонку:

— Шапку забыли!.. Дяденька!.. Эй!..

Катится жизнь колесами дней, ломает жизнь привычное, всегдашнее, хоть и плохое может быть, а такое, с которым век прожил — не жить ведь двух жизней Тарасову. И пусть ломает. Не в этом

суть. А в том — почему она, новая жизнь, того не оценит, того не поймет, что ведь и Тарасов не зря землю следил? И он, Тарасов, был молод. И он на настоящие дела мечтал! Ну, не вышло... Не вышло настоящих дел у Тарасова... Так не Тарасов в том виноват!.. У вас вышло, так не заносись, не задирай нос, не тыркай, что старый прижим!.. Сколько этого горя повидало, сколько хозяйской пыли поедено, ведь не легко, не гуляючи досталось: метранпаж Тарасов, по тонким работам первач.

Сидеть Тарасову на редкость просторно. Целая скамейка ему отведена. Ну — все бы отдал, не сидеть бы на этой скамейке, притулиться вот там, хотя бы с краюшку, где Демидов, чувствовать рядом дружеский бок, теплый милый воздух родных дышащих тел — скрыться, упрятаться, схорониться под надежную их защиту.

Да не примут... Хоть бы и пришел — не примут... Выдали товарищи Тарасова, отказались, как заразного выбросили вот на эту доску — никто не подойдет, не поговорит, не присядет: сиди один...

Редактор газеты Лотоцкий ходит и ходит, говорит и говорит, в записку посмотрит, опять говорит, воды напьется — опять говорит... Краснобай, говорун Лотоцкий. Начнет когда на собрании про империалистов — конца краю не будет; в седьмой пот ударит — Лотоцкий только в разгар вошел...

— Таких, как Тарасов, рабочий класс не может терпеть в своих рядах. Бить комсомольцев,

превращать их в мальчиков для личных услуг, избивать рабочих корреспондентов... Это что?..

Передохнул Лотоцкий, ответил для большей силы сам себе по складам:

— Это есть э-ко-но-ми-че-ска-я контр-революция!.. Это есть тормоз рабочему классу в его строительстве!.. Тарасовы своими делами помогают нашим злейшим врагам!..

Не знает Тарасов, что надо делать, что сказать, как оборвать эту невыносимую ложку. Трясутся ноги от желания вскочить, пенавистью налились белки, шевелят язык и губы непронесенные матерные слова:

— Это я-то — враг?.. Это я-то — контр-революционер!.. Ах ты, стерва примазавшая!.. Ах ты, негодник очкастый!..

Да что же они?.. Что же они — Демидов, Кудрявцев, Жбанков?.. Почему молчат, почему не крикнут ему, чтоб перестал, чтоб уходил, чтоб не поливал Тарасова грязью?..

Не поймать Тарасову ничьих глаз, уходят глаза, как проваливаются. Нет ни у кого, кто в клубе, глаз для Тарасова...

Значит — все забыли... Значит — зря прожиты годы... Значит — ни к чему все, что пришлось перетерпеть, перенести, перестрадать... Ну, что ж, что били Тарасова с детства!.. Ну, что ж, что передохли детишки!.. Ну что ж, что чахотка... Нахвать!.. Враг Тарасов — конец...

Если так — значит так... Видно и впрямь оказался врагом на старости лет. Нет у Тарасова больше забот. Пусть говорит Лотоцкий, что вздумает...

А Лотоцкий умолк. Вытер платком запотевший лоб, уселся на стул:

— Слово, — сказал Кудрявцев, фактом, поперхнувшись, — слово защитнику — представителю комсомольской ячейки...

— Правильно говорил товарищ Лотоцкий... Экономическая контра и подрыв рабочего класса...

Знакомый, до пределов знакомый голос... Не может быть!.. Что ж это?.. Поднял старик растерянно голову:

— Он... Соколов...

Вот тебе на!.. Вот тебе и защита!.. Вот тебе — суд!.. Защитником — главный враг!.. Защитит!.. Куда хочешь!.. В гробу — не забудешь. Ловко!.. Ай, ловко!.. От такого суда — никуда!.. Да что это он говорит... какие это слова?..

— Причины есть — несознательность... Молодому и то... А старому человеку... Не при советской власти воспитан!.. Товарищ Тарасов всему профсоюзу известен...

— Все знаем!..

— Никогда за козлев не гнул!..

— ...Именно... Рабочий — что надо... Дело знает — мало у нас таких, и своему классу предателем — не был. Товарищ Лотоцкий тут перегнул...

— Комсомол линию знает!..
— Против Тарасова — никому!..
— Старого человека враз не переделаешь!..
— Сгоряча это он...
— А то — «исключить»!..
— Тихо вы!.. Потом слово дам... Оратору не даете сказать!

— ...Товарищ Тарасов... войдет в сознание... Он ведь не со зла, он — по ошибке... Долго ли ошибиться?.. Я считаю: на первой — простить!.. Ошибка — ошибка и есть...

— Вот именно... Вот, вот!.. Ошибка... Товарищи!.. Никогда!.. Товарищи...

Оказался Тарасов вдруг рядом с Соколовым, говорил что-то неслышное, тряс Соколова за рукава.

Силился Кудрявцев, сложивши ладошки в рупор, перекричать шум, — да куда, разве перекричишь?

1925

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
Расщелина	15
Онуприй Вязанко	45
Немотивированный след	59
Клад	81
Волыня	99
Рассказ о простом	121
Ошибка	143

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА—ЛЕНИНГРАД

СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЯКОВ КОРОБОВ

ПЕТУШИНОЕ СЛОВО

ПОВЕСТЬ

Стр. 242.

Ц. 1 р. 75 к.

Роман живо и интересно изображает расслоение деревни. Автор в интересном сюжетном построении дает портреты характерных, четко очерченных, не сливающихся друг с другом представителей различных слоев деревни. Простой и образный, порой грубоватый язык хорошо увязан с содержанием романа. Один из интереснейших романов современности.

Д. ФУРМАНСВ
ЗАПИСКИ ОБЫВАТЕЛЯ

Стр. 71. Ц. 35 к.

Г. УСТИНОВ
ЧЕРНЫЙ ВЕТЕР
Роман

Стр. 128. Ц. 80 к.

АННА КАРАВАЕВА
ЗОЛОТОЙ КЛЮВ
Повесть
(Печатается)

И. КРИВОШАПКИН
СЕРГЕЙ АКАТОВ
Повесть
(Печатается)

Продажа во всех магазинах, отделениях и киосках
ГОСИЗДАТА

ВСЕ КНИГИ имеющиеся на книжном рынке высылают
немедленно по получении заказа

МОСКВА, 9, ГОСИЗДАТ, „КНИГА — ПОЧТОЙ“
ЛЕНИНГРАД, ГОСИЗДАТ, „КНИГА — ПОЧТОЙ“
а в пределах УССР—ХАРЬКОВ, ГОСИЗДАТ РСФСР,
„КНИГА — ПОЧТОЙ“

Книги высылаются почтовыми посылками или бандеролью
наложенным платежом. При высылке вперед всей стоимо-
сти заказа (до 1 руб. можно почтовыми марками)
пересылка бесплатно.

Каталог „Художественная литература“ высылается по
требованию бесплатно.